

ФЁДОР НЕСТЕРОВ

## ЗАКЛЯТОЕ СЛОВО

(из диалога цивилизаций)

*Вместо введения*

*“Заклинать”, по В. Далю, — это “заповедать, заказывать, запрещать под страхом проклятия, кары небесной”. Слово по значению близко к “заговаривать” — “завораживать, заколдовывать таинственными словами, дыханием, движением рук останавливать какое действие, лишать силы. Заговорить змеею. Заговорить кровью”. Итак, заклинание, заклятие, заговор — некие таинственные, колдовские слова, способные остановить действие, лишить кого-либо или что-либо силы. Ну, а сами-то слова — подлежат ли они, в свою очередь, заклятию? Мне представляется, поднятый вопрос имеет принципиальную важность для всех оккультных наук, да уж заодно — и для всех гуманитарных. Мы попытаемся его решить, не прибегая к заклятиям.*

*В конце 80-х годов прошлого столетия “Литературная газета” открыла рубрику “Диалог литераторов” как своего рода арену для словесных дуэлей между своими авторами. Одна из встреч-бесед очередной пары литературных гладиаторов (6.09.1989) мне тогда показалась знаковой, а потому и сохранилась среди газетных вырезок. К затрагиваемой теме она имеет отношение непосредственное, а потому воспроизвожу из нее наиболее, на мой взгляд, выразительный отрывок.*

М. ЛОБАНОВ. Вот сейчас много пишут о повести В. Гроссмана “Все течет”. Мнения разные. Взять хотя бы номер “Литературной России” — письмо главного редактора А. Ананьева, который решительно отвергает утверждения ряда авторов о русофобии в названной повести. С возмущением говорит об этих утверждениях и Д. Гранин в “ЛГ” от 30 августа. Я знаю ваше мнение, Анатолий Георгиевич, о романе Гроссмана “Жизнь и судьба”, весьма восторженное мнение вообще об этом писателе, уважаю вашу прямоту, откровенность и хочу спросить: как вы считаете, есть ли, существует ли у нас русофобия?

А. БОЧАРОВ. Как раз и я хотел задать вам этот вопрос. В последнее время трубят о ней все чаще, а я никак не могу понять, что же имеется в виду (курсив мой. — Ф. Н.)...”.

---

*НЕСТЕРОВ Фёдор Фёдорович родился в 1935 году в Москве. Окончил МГИМО. Кандидат филологических наук. Тридцать пять лет преподавал в Университете дружбы народов историю — историю России арабским студентам и историю Арабского Востока студентам советским и российским. Ныне старший научный сотрудник в Центре цивилизационных и региональных исследований при Институте Африки РАН. Автор книги “Связь времён”. Живёт в Москве*

Но вот тут, на самом интересном месте, разговор круто ушел в сторону, так что вопрос о том, “что же имеется в виду”, остался открытым. Еще в июне того же 1989 года работа И. Р. Шафаревича “Русофобия”, впервые вышедшая из подполья, из “самиздата” и опубликованная на страницах “Нашего современника”, разъяснила, причем разъяснила, казалось бы, вполне доходчиво, “что же имеется в виду”, но читать ее в среде литераторов демократического направления считалось признаком дурного тона. Читать не читали, в полемике с ее автором не вступали, но осуждать осуждали, причем столь решительно, что становилось очевидным: “приговор окончательный и обжалованию не подлежит”. До меня июньский номер журнала дошел много позднее, так что допытываться, из-за чего же скрестились рапиры, мне пришлось самому.

Хочу прочитать статью “Русофобия” в БСЭ – во всех ее изданиях “полное отсутствие всякого присутствия”. Обращаюсь к “Советскому энциклопедическому словарю” (М., 1981) – тот же результат. Открываю словарь Ожегова – то же самое. Но слово-то – иностранное! Не справится ли о его значении в “Словаре иностранных слов”? Оный безмолвствует. То есть в нем имеются, скажем, *англофоб* и *англофобство*, *юдофоб* и *юдофобство*, но вот *руссофоба* и *руссофобства* – словно корова языком слизала. Ну, как же так? Встречал же я и совсем недавно, и в отдаленном прошлом, видел же его, это проклятое слово, видел собственными глазами, даже и неоднократно, причем тогда еще, когда о нем никто и не “трубил”. Охота за явно *заклятой* лексической единицей начинать в общих чертах воспроизводить поиски “Пропавшей грамоты”.

Но где же, где же все-таки попадалась она мне? Наверное, где-то в иностранной литературе. На каком языке? Беру по порядку франко-русский, немецко-русский и англо-русский словари, причем, по возможности, самые вместительные.

Если поверить на слово “Французско-русскому словарю” К. А. Ганшиной (51 тыс. слов, изд. седьмое, стереотипное, 1977), французы делятся на *англофилов* и *англофобов* (*les anglophiles et les anglophobes*) – “нейтралы”, понятно, в счет не идут. Зато среди них отсутствует дихотомия по критерию приязни или неприязни к русским. То есть без всякой дихотомии никак нельзя, она, конечно, есть, но – на другой основе: французы либо *любят русских* – это *руссофилы* (*les russophiles*), либо, на самый плохой конец, всего лишь безразличны к ним. *Руссофобы*, как сказал бы старик П. Корнель, “блещут своим отсутствием”: нет французского слова – нет, выходит, и французской реалии.

Обращаюсь к двухтомному “Большому немецко-русскому словарю” (165 тыс. слов, М., 1980). Там наличествуют и *англофилы*, и *англофобы*, зато присутствие *юдофоба* (*Judenfeind*) и даже, простите, “*жидоеда*” (*Judenfresser*) усугубляется отсутствием противовеса в виде *юдофила*. Вообще, гнездо слов, связанных корнем *Jude-*, насчитывает 14 единиц, носящих в значительной своей части отрицательную эмоциональную окраску. Что касается сложных слов, включающих в себя понятие “русский”, то их, во-первых, мало, а, во-вторых, они вполне благопристойны. Их всего три, а именно: *Russenbluse* (рубашка-косоворотка), *Russenfreund* (руссофил) и *Russenstiefel* (высокие сапоги). Имеется ли или, по меньшей мере, имелось ли в немецком языке такое уничижительное обозначение русского, как *Bartrusse* (русский бородач)?\* В словаре такого оборота не значит. Как видим, и в отношении русских в Германии наблюдается отсутствие баланса: руссофилов хватает, а вот руссофобов немецкий язык не знает, не ведает. Как? Разве и Гитлер не был руссофобом? Сказано ведь ясно: раз руссофобии нет, то и руссофобов быть не может!

Но в другом двухтомнике, в “Большом англо-русском словаре” (под общим руководством И. Р. Гальперина, М., 1972, около 130 тыс. слов), меня ждал сюрприз: *Russophil* – руссофил; *Russophobia* – руссофобия” (!!!) (т. II, с. 377).

\* У Данилевского мы встречаем: “Все самобытно русское и славянское кажется ей (Германии) достойной презрения, и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу цивилизации (курсив мой. – Ф. Н.). Gemeiner Russe, Bartrusse (“подлый русский”, “бородатый русский” как синонимы. – Ф. Н.) – суть термины величайшего презрения на языке европейца, и в особенности немца. Русский в глазах их может претендовать на достоинство человека только тогда, когда потерял уже свой национальный облик” (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991, с. 52–53).

Браво, профессор Гальперин, bravo! Вы имели смелость первым, задолго до выхода в свет “Русофобии” И. Шафаревича, нарушить табу, неизвестно кем наложенное на несчастное слово и сделавшее его запретным, **тайным!**

В России говорить и писать о русофобии вообще “не принято” – всякий русский, взявший на себя смелость затронуть запретную тему, немедленно подвергается психологическому террору: либерально-демократическая “общественность”, не давая себе труда вникнуть в приводимые им доводы, не вступая с ним в дискуссию по существу, шельмует дерзновенного публициста “с порога” как “русского фашиста”, как “вдохновителя скинхедов” и, уж во всяком случае, как “ксенофоба”. “Ксенофобия”, естественно, подразделяется, на ряд спецификаций. Так, И. Р. Шафаревич, поднявший проблему еврейской русофобии, взамен получает “волчий билет” антисемита. С. Ю. Куныев за его книгу “Шляхта и мы” – ярлык “полонофоба”. “Далее – везде”.

Так все же: русофобия – что это? Продукт ли воспаленного воображения русских ксенофобов, а потому и существующий *только в их воображении*? Или же она представляет собой феномен социальной психики куда более распространенный? В последнем же случае (то есть вне зависимости от того, “трубит” ли кто о ней или “не трубит”), не найдем ли мы попутно, уж заодно, и какого-либо разъяснения относительно содержания гонимой из русского языка, словарей, энциклопедических изданий лексической единицы?

Ответ, на наше счастье, не приходится долго искать. Он дан не русским публицистом или политическим деятелем, а американским ученым, выпускником Гарварда 1950 года Глисоном. Зловещим был тот год. Корея уже горела в пламени войны (1950–1953) между Севером и Югом, и война эта стремительно перерастала в Третью мировую. На юге страны в порту Пусан высаживался американский экспедиционный корпус, а с ее северной границы полк за полком, дивизия за дивизией шли ему навстречу китайские “добровольцы”, чтобы с марша вступить в бой. Каждый день мог стать последним мирным днем и для Советского Союза.

Что привело человечество на грань новой войны, которая неминуемо, с первых же ее часов, должна была бы стать атомной? Основной тезис речи Черчилля в Фултоне (1946), штат Миссури, тезис, успевший за 4–5 лет превратиться для людей Запада в догмат, не подлежавший ни сомнению, ни, следовательно, обсуждению, загодя заготовил для столь удобного *casus belli* солидное идеологическое обоснование: это Советский Союз повинен в том, что “от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился через весь Континент”. На *Европейский* континент, но то, что в Европе “аукнулось”, в Азии “откликнулось”. “Запев” подхвачен был слаженным хором СМИ, который многократно повторил: “то агрессивная Россия вновь берется за свое!”. И вдруг такой конфуз: какой-то “яйцеголовый” из Гарварда смеет своим “особым мнением” нарушать гармонию и консенсус!

Сам Глисон этот свой, безусловно, смелый поступок во введении к книге мотивировал так:

“Мало вещей могут иметь ныне больше значения, чем установление взаимного доверия и терпимости в отношениях между Советским Союзом и англоязычными народами. Надеюсь, предлагаемое мной исследование об истоках и раннем этапе развития русофобии в Великобритании будут способствовать, хотя бы в малой степени, усилению чувства симпатии между обеими сторонами. Это – печальная история о разрыве сердечных отношений и о росте враждебности между Россией и Соединенным Королевством, причем в то самое время, когда основные политические установки обеих наций были если и не тождественными, то дополняющими одна другую. Будем же надеяться на то, что нынешние относительно тривиальные разногласия не станут вновь поводом к увековечиванию взаимного непонимания, не вызовут к жизни непреодолимые страх и ненависть”\*.

Итак, в 1950 году в поле исторического анализа был введен принципиально новый сюжет: “истоки и ранний этап развития русофобии в Великобрита-

\* Gleason J. H. The Genesis of Russophobia in Great Britain. Cambridge, Harvard University Press, 1950, p. 11.

нии”. Нам он интересен, прежде всего, с точки зрения исторической лингвистики и именно тем, что позволяет выявить хронологические рамки того периода, когда слово “русophobia” захватило свой первый плацдарм. Автор “Происхождения русophobia...” утоляет наше любопытство: слово это вошло во всеобщее употребление в Англии между 1833 и 1841 гг., его появление стало следствием кризиса в англо-русских отношениях, особенно обострившихся на его последнем этапе (1839–1841).

### *Босфор, февраль-июль 1833*

Кризис этот, в свою очередь, был вызван рядом событий, связанных с восстанием правителя Египта Мухаммеда Али против своего сюзерена, султана Османской империи Махмуда II. Египтяне успели дважды разгромить турецкую армию (сначала в Сирии, затем в Малой Азии) и уже приближались к Стамбулу, когда на малоазийский берег Босфора высадился 14-тысячный русский экспедиционный корпус, прикрыв собой, как щитом, столицу османов. Русские тогда, как не столь уже редко и в иные времена, твердо следовали правилу: терпящему бедствие – помощи, не дожидаясь призыва о помощи и не рассчитывая на его благодарность.

Султан на помощь, правда, призывал, но – не Россию, а Англию с Францией. Те, выразив ему сочувствие, отправили свои эскадры крейсировать вдоль берегов Египта и Сирии, дабы “показать флаг”. Что касается помощи сухопутными силами, то дело ограничилось лишь английским советом султану как-то продержаться до подхода австрийской армии (которая, к слову сказать, так и не двинулась с места). Расчет Николая I на этот раз оказался вполне точным: обращенная к России формальная просьба султана о помощи против мятежного вассала не заставила себя ждать. Ограниченный воинский контингент, оказавшийся под началом генерала Муравьева в нужное время в нужном месте, выполнил свою миссию “по принуждению к миру” дерзкого вассала Порты без единого выстрела, просто самим фактом своего присутствия. Академик Е. В. Тарле так описал (не без “крупницы соли”) завершение этого поучительного эпизода:

“Мир был очень выгоден для египетского паши (Мухаммеда Али. – **Ф. Н.**): и значительно расширял его владения. Но Константинополь был спасен. Однако и для султана, и для Европы было ясно, что Ибрагим (сын Мухаммеда Али, командовавший египетской армией. – **Ф. Н.**) со своим войском убоился не маневрирующих где-то английских и французских судов, а русской армии, уже стоявшей на малоазиатском берегу Босфора. Султан Махмуд был в восторге от оказанной ему помощи и еще больше от переданного ему через царского генерал-адъютанта графа Орлова заявления, что спасители Турецкой империи 11 июля намерены отчалить от дружественных турецких берегов и возвратиться в Севастополь”\*.

А за три дня до отплытия произошло событие, которое для русского флота и высаженного с него десанта, для моряков и для пехоты, стало сигналом того, что поставленная перед ними задача полностью выполнена, и они могут, с чувством исполненного долга, вернуться домой. Событие это стало, так сказать, “венцом” всей экспедиции:

“8 июля 1833 г. в местечке Ункиар-Искелесси между русскими и турецкими уполномоченными был заключен знаменитый в летописях дипломатической истории договор. В Ункиар-Искелесси Николай одержал новую дипломатическую победу – более замечательную, чем Адрианопольский мир, ибо победа эта была достигнута без войны, ловким маневрированием.

Россия и Турция отныне обязывались помогать друг другу в случае войны с третьей державой как флотом, так и армиями. Они обязывались также помогать друг другу в случае внутренних волнений в одной из двух стран. Турция обязывалась в случае войны

\* История дипломатии, под ред. Потемкина В. П., т. I. М., 1941, с. 416.

России с какой-либо державой не допускать военных судов в Дарданеллы. Босфор же оставался при всех условиях открытым для входа русских судов.

Договор в Ункиар-Искелесси стал одной из причин обострения англо-русских противоречий<sup>\*</sup>.

И как было им не обостриться, коли оборотной стороной той блистательной победы, что была тогда одержана русской дипломатией, оказалось поражение дипломатии британской, а заодно и французской? Когда первая русская эскадра вошла в Босфор (20 февраля 1833), французский посол в Стамбуле адмирал Руссэн направился к султану с тем, чтобы убедить его категорически потребовать у русского посла Бутенева ее вывода из пролива. Английский посол Понсонби полностью солидаризировался с французом в его угрозе покинуть Стамбул, разорвать дипломатические отношения с Высокой Портой и оставить ее один на один с могучим противником. Но дальнейшие события развернулись не столько по драматическому, сколько по водевильному сценарию. Прежде чем изъять монаршую волю русскому послу, Махмуд II вынудил западных послов подписать обязательство остановить наступление египтян любым способом, не исключая и применение вооруженной силы. Однако Ибрагим-паша, египетский главнокомандующий, прекрасно сознавая, что именно этой вооруженной силы ни у французов, ни у англичан в районе боевых действий нет и ее появления в обозримом будущем опасаться не приходится, оставил ультиматум без ответа, продолжая продвижение к турецкой столице. И вот драма достигает вершины комизма: “Султан Махмуд убедился, что Руссэн и англичане его обманули ... (Он) прямо объявил, что снова обратился к Бутеневу, и турецкие министры сообщили последнему о согласии султана, чтобы русский флот не уходил из Босфора. Бутенев на это мог только любезно ответить, что русский флот и не думал трогаться с места, так как у него, Бутенева, было только устное, а не письменное предложение увести флот. 2 апреля к берегу Черного моря, у самого Босфора, явилась новая русская эскадра, а спустя несколько дней – и третья. Немногим меньше 14 тысяч русских солдат было высажено на берег<sup>\*\*</sup>”. Остальное нам уже известно. В итоге Англия (нас сейчас интересует только она, о Франции пока речи нет) получила почти одновременно три оплеухи – от турок, от египтян и от русских. Но весь ее гнев излился только на Россию – счеты с прочими обидчиками были отложены до лучших времен.

#### *Лондон, 1833–1841*

Лорд Пальмерстон, в интересующий нас период 1833–41 гг. – лидер правящей партии вигов в парламенте и “статс-секретарь” (министр) иностранных дел, с редкостным для дипломатической практики чистосердечием высказал “на людях” русскому послу в Лондоне Поццо ди Борго все, что думал о русской политике вообще: “Европа слишком долго спала, она теперь пробуждается, чтобы положить конец системе нападений, которые царь хочет подготовить на разных концах своего обширного государства<sup>\*\*\*</sup>”. Ди Борго, отнюдь не уступив собеседнику в степени откровенности, поделился с ним, в свой черед, задушевными мыслями относительно методов строительства Британской империи. Мыслями, которые, будь они переведены с дипломатического французского языка на простонародный русский, вполне совпали бы по смыслу с известной поговоркой: “Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала”. Но “английская корова” молчать не собиралась. Пальмерстон, вместо того чтобы подать в отставку, признав свою личную ответственность за провал британской политики на Ближнем Востоке, еще выше поднял уровень напряженности в отношениях Британии с Россией. В ходе очередных парламентских слушаний по вопросам внешней политики он выплеснул кипевшее в его груди негодование на русский “экспансионизм”, предупредив при этом палату общин: “Пустить Россию в Константинополь значило бы спустя несколько лет увидеть ее в Индии<sup>\*\*\*\*</sup>”.

\* История дипломатии, с. 417.

\*\* Там же, с. 416.

\*\*\* Там же, с. 425.

\*\*\*\* Там же, с. 421.

Взглянув на географическую карту, любой англичанин мог легко убедиться в том, что от Константинополя до Индии “рукой” вовсе “не подать”, как и в том, что какой бы иной маршрут, морской или сухопутный, зловерные русские ни избрали, за “несколько лет” до Индии им все же никак не добраться. В нижней палате на это обстоятельство внимание своих коллег обращал видный оратор Джон Брайт, а известный публицист, основатель “Лиги борьбы против хлебных законов” Ричард Кобден в изданной им брошюре “Россия” (“Russia”, L., 1836) обрушился на позицию Пальмерстона по русскому (“восточному”) вопросу как раз во имя тех принципов “свободной торговли” (free trade), коими руководствовалась партия вигов (вскоре они назовут себя либералами) и их лидер, лорд Пальмерстон. Кобден и его “Лига” выступали против любого протекционизма, начиная с английских высоких таможенных пошлин на ввоз иностранной сельскохозяйственной продукции, в общем списке которой русский хлеб занимал если не первое, то одно из первых мест. Е. В. Тарле дал себе труд законспектировать брошюру в одном абзаце:

“Если даже предположить, что Россия утвердится в Константинополе, от этого ни английская промышленность, ни торговля, ни судоходство ничего не потеряют. Русские не могут экономически конкурировать с англичанами, и Англия будет по-прежнему главенствовать во всех странах Леванта. А что в Константинополе будет русская полиция, то это скорее благоприятное обстоятельство. Порядка и безопасности будет больше, чем при полиции турецкой. Не ведя с Россией дипломатической борьбы, можно заключить с ней выгоднейшие торговые договоры. А больше ничего для Англии и не требуется”\*.

Здравый смысл был, по всей видимости, на стороне Брайта и Кобдена, однако не на их стороне выступило британское общественное мнение – его основное, доминирующее течение мощно, последовательно, в самых разнообразных формах поддерживало демонстративно антирусскую политику Пальмерстона и его лично как “честного патриота”. Именно этот период имел в виду Глисон, когда писал о происхождении британской русофобии:

“Хотя лишь в сравнительно немногих случаях было бы уместно прилагать к этому общему чувству термин “фобия”, почти ни одна попытка анализа британского общественного мнения той эпохи не могла бы обойтись без введения в исследование шкалы неприязни. Уровень враждебности по отношению к России в тридцатые годы прошлого (XIX-го. – Ф. Н.) века поднялся по этой шкале до высшей отметки. А в нашем тексте слово “фобия” употребляется отчасти и по той причине, что именно тогда “словцо” русофобия и именно в той обстановке как нельзя более пришлось ко времени и к месту для обозначения антирусского чувства, достигшего высшей степени напряженности; именно тогда и там оно впервые было пущено в оборот и только потом получило более широкое распространение”\*\*.

Кстати, хотя фобия как в прямом, так и в переносном смысле подразумевает некую психическую патологию, именоваться в Англии русофобом никогда с момента появления “словца” во всеобщем употреблении не считалось особо зазорным. В худшем случае свойство “быть русофобом” прощалось его обладателю как милый недостаток. В лучшем – оно выступало как немалое достоинство, служило упрочению репутации истинного джентльмена, независимо от его партийной принадлежности. Виг Пальмерстон и не думал скрывать свою русофобию. Позднее Дизраэли (он же лорд Биконсфилд)\* в светских салонах Лондона открыто бахвалился тем, что большего, чем он, русофоба по всему

\* История дипломатии, с. 420.

\*\* Gleason J. H., p. 11.

\*\*\* Дизраэли (D'Israeli) Бенджамин, граф Биконсфилд (1804–1881), премьер-министр Великобритании в 1868 и в 1874–80, лидер Консервативной партии; писатель. В 1852, 1858–59, 1866–68 министр финансов.

Соединенному Королевству днем с огнем не сыскать. Так это или не так – вопрос, конечно, спорный, чемпионат на звание *величайшего русофоба Великобритании* никогда не проводился; но вряд ли приходится усомниться в том, что именно своей репутации неукротимого русофоба он, *тори*, был обязан популярностью среди английского *пролетариата*, совершенно немислимой в иных случаях для *консерватора*: на парламентских выборах рабочие предместья Лондона неизменно голосовали за него.

### *Русофобия и антисоветизм*

Глисон солидаризировался с теми выводами, к которым при анализе причин Крымской войны пришел другой американский исследователь Б. К. Мартин в работе “Триумф лорда Пальмерстона”. Он согласен с тем, что, как в 30-е, так и в 50-е годы XIX века в Великобритании уже имелась “зрелая и практически полная русофобия”, то есть “готовность решать разногласия с Россией силой оружия”\*. Однако в первом случае опасности вооруженного столкновения удалось избежать благодаря англо-русскому соглашению 1841 г., а во втором – не удалось, и она вылилась в широкомасштабную Восточную войну (1853–56). Позволю себе поставить под сомнение отождествление “зрелой и практически полной русофобии” с “готовностью решать разногласия с Россией силой оружия”, но это, так сказать, *NB!* – заметка на будущее. К этому сюжету мы вернемся, а сейчас нам интереснее то, что, по Глисон, произошло далее:

“Дипломатические отношения между двумя державами (Великобританией и Россией. – **Ф. Н.**), которые были возобновлены при переговорах, приведших к заключению Парижского мирного договора (1856), характеризовались, как и до их разрыва, упорным антагонизмом и периодически вспыхивавшими кризисами. Содержавшееся в Парижском договоре соглашение по Ближнему Востоку оказалось менее долговечным, чем предыдущее (1841) – о статусе проливов. Коренного пересмотра англо-русских отношений (подобного тому, что имел место в 1839–1841 гг.) не произошло вплоть до *entente* (фр. Антанта, соглашение. – **Ф. Н.**) 1907 года. Антипатия по отношению к России оставалась, таким образом, доминирующей в британском общественном мнении вплоть до 1907 года и возродилась в значительно модифицированной форме, но все же вполне узнаваемая, десятилетием спустя (курсив мой. – **Ф. Н.**)”\*\*.

Так что же произошло десятилетие спустя? Ах, да! 1907 + 10 = **1917!** Ангლოსаксы обожают изъясняться намеками, и иногда это бывает очень удобно: “О! Вы меня не так поняли!”. Но последняя фраза из приведенной цитаты, как на нее ни посмотреть, не может означать ничего иного, как констатацию следующего первостепенной важности факта.

Возродившаяся на Западе в 1917 году **руссофобия** действительно претерпела значительную модификацию, так как она тогда пополнилась еще одной идеологической составляющей, а именно – **антикоммунизмом**; результатом “скрещивания”, взаимного проникновения этих двух “начал” стал **антисоветизм**. Оговорюсь: не всякий антисоветизм имел своей подкладкой руссофобию, но антисоветизм западный, по большей части, все же ее в себя включал. В качестве даже если не строго обязательного, то обычного компонента.

Но точно ли руссофобия, изменившая свой традиционный облик, мутировавшая в антисоветизм, осталась “вполне узнаваемой”? “Вполне узнаваемой” – для кого? Наверное, всё-таки не для каждого и всякого. Откуда бы иначе у русских патриотов антисоветского толка “жалкий лепет оправдания” *post factum*, уже после того, как “судьбы свершился приговор”: метили-де в Советский Союз, а попали в Россию?..

Но патриоты **нерусские** (Глисон, возможно, один из первых) справились с проблемой распознавания руссофобской сущности антисоветизма с куда меньшим трудом. Ограничусь здесь парой дополнительных примеров.

\* Gleason J. H. Ibid.

\*\* Gleason J. H. Ibid.

Шарль Корбе, выдающийся представитель французского *имажизма* в историографии, автор замечательной монографии “Французское общественное мнение перед лицом Русской Незнакомки (1799–1894)”, во введении к ней предсказывал:

“Не так уж и далек тот час, когда можно будет спокойно (*de sang-froid*) написать историю *последнего этапа русофобии*, – той *русофобии*, что вновь поразила французское общественное мнение в 1917 году (курсив мой. – Ф. Н.). Только тогда, когда зияющая рана затянется, Россия, наконец, воссоединится с остальной частью Европы в качестве вполне равноправного партнера”\*.

В 1957 году в Калькутте издается брошюра “Русское Пугало”. Ее автор Кришна Менон (1896–1974) – виднейший деятель Индийского национального конгресса, один из ближайших соратников Джавахарлала Неру в борьбе за независимость Индии, в 1947–52 гг. верховный комиссар Индии в Великобритании, в 1957–1962 министр обороны Индии, в 1971–74 один из почетных президентов Всемирного Совета мира. Это сочинение послужило прекрасной иллюстрацией уже известной нам мысли: прошлое никуда не уходит – оно даже не делается прошлым. Кришна Менон писал именно *о прошлом в настоящем*:

“Яростная антирусская пропаганда, нацеленная в послевоенные годы на индийский народ державами Запада, которые все это время стремились завербовать нас в свои военные группировки и помешать расцвету сердечных отношений между Индией и Советским Союзом, имеет разительные параллели с теми *приступами русофобии*, которые с периодичной последовательностью поражали в прошлом столетии *англо-индийские круги*\*\* (курсив всюду мой. – Ф. Н.): одни и те же слухи о русских зловещих планах, те же уверения в том, что русские не заслуживают доверия, те же жуткие рассказы о русском шпионаже, те же претензии на чисто оборонительный характер западных акций. В свое время, когда над английской Индией было поднято во весь гигантский рост Русское Пугало (*Russian Bogey*), было предпринято поистине черчиллевское усилие (*a Churchillian effort*) для того, чтобы изобразить конфликт так, как если бы он протекал между Востоком и Западом, между славянами и англосаксами...

*Русофобия, развившаяся пышным цветом еще во времена Пальмерстона и Дизраэли*, в известной степени служит основой и для современной пропаганды. “Неизменный” экспансионистский характер России, “постоянное” стремление русских к теплым морям – такого рода представления действительно неизменно и постоянно используются в живописании ужасной картины под названием “угроза свободному миру”.

Тот тезис, что британская политика в Индии определялась именно русской угрозой, выдвигается не только британскими апологетами, он некритично воспроизводится также и в работах тех патриотически настроенных индийских историков, которые немало сделали для разоблачения других мифов относительно мотивов британских акций в Индии. Преимущественно занятые проблемой внутреннего развития своей страны, они не могли уделить необходимого внимания вопросам анализа того внешнеполитического курса, который проводился британско-индийским правительством”\*\*\*.

Издание в Калькутте “Русского Пугала”, вышедшего из-под пера министра обороны, стало для индийского общественного мнения событием знаковым, указанием на направление дальнейшего внешнеполитического курса прави-

\* Corbet Ch. A l'ère des nationalisms. L'Opinion française face à l'inconnue Russe (1799–1894). Paris, 1967, p. 12.

\*\* “Англо-индийские круги” – это социальный слой, связанный с британской колониальной администрацией в Индии.

\*\*\* Menon K. S. The “Russian Bogey” and the British aggression in India and beyond. – Calcutta, 1957, p. 3–10.



тельства. Оно не могло пройти незамеченным и в Москве – ни на Смоленской, ни на Старой площади, ни, наконец, в Кремле, не говоря уж о “Правде”, “Известиях”, “Новом времени”, “За рубежом”. Не могло пройти, а вот, тем не менее, прошло: ни перепечаток, ни ссылок, ни хотя бы только беглых упоминаний – всюду, одним словом, гробовое молчание. К середине пятидесятих годов прошлого века в Советском Союзе сложился добрый обычай встречать иностранных государственных деятелей не только хлебом-солью, не только присуждением им почетных научных титулов, но и изданием на русском языке их произведений, ежели таковые имелись. Так, Издательство иностранной литературы (позднее “Прогресс”) выпустило “Автобиографию” и “Открытие Индии” Дж. Неру, “Военные мемуары” Ш. де Голля и пр. Кришна Менон гостил в нашей стране неоднократно, и его всякий раз привечали здесь как друга. Он и был другом Советского Союза – и России тоже. Но вот его книга, при всей ее просоветской направленности, так на русском языке и не была издана. А почему?

### *Горестная судьба имажизма в Советском Союзе*

Почему? Наверное, по той же причине, по какой вообще ни одна книга, трактовавшая или хотя бы только затрагивавшая проблему русофобии, принадлежала ли она перу русского или иностранного автора, за все время советской власти советским издательством выпущена в свет *не была!* Единственным исключением из правила успела стать публикация “Нашим современником” журнального варианта “самиздатовской” работы И. Р. Шафаревича. Но именно ее публикация и, главное, громовой общественный “резонанс” на ее публикацию как раз и подтвердили правило: говорить в России о русофобии еще более “некорректно”, чем в доме повешенного – о веревке. О том, насколько неукоснительно это правило, не только неписаное, но никогда даже и не оглашавшееся вслух, соблюдалось, можно судить по истории с имажизмом в советских общественных науках.

Но что такое имажизм по существу? Чтобы составить о его проблематике первое представление, достаточно ознакомиться с названиями хотя бы лишь малой толики тех научных трудов, которые некогда (прошу обратить особое внимание на дату их публикации) послужили вехами на пути развития имажизма, определяя тем самым его лицо:

Буханан У., Кэнтрил Х. Как нации видят одна другую. – Урбана, 1953; Эндерсон М. С. Британия открывает Россию: 1553–1815. – Лондон, Нью-Йорк, 1956; Бранфеубреннер У. Зеркальный образ в советско-американских отношениях. – “Джорнэл ов Соушел Иссьюз”, 1961, т. 17; Уайт Р. Ошибки в восприятии образов Советского Союза и Америки. – “Нью-Йорк таймс”, 5 сентября 1961; Гро Дитер. Россия в самосознании Европы. – Неувид, 1961; “Международное поведение” (сборник статей). – Нью-Йорк, 1965; Кадо М. Образ России во французской интеллектуальной жизни, 1839–1856. – Париж, 1967; Финлей Д., Холти О., Фейгон Р. Образ врага в политике. – Чикаго, 1967; Джервис Р. Восприятие и ошибки в восприятии в международной политике. – Принстон, 1976; Восприятия: Отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Комиссия по делам иностранных отношений Сената США. – Вашингтон, 1978; Кан Х. Б. Немцы и русские: история взаимоотношений от Средневековья до современности. – Кёльн, 1984; Русские и Россия глазами немцев, IX–XVII вв. – Мюнхен, 1985; Кин С. Лица врага. Размышления о Враждебном Воображении. – Нью-Йорк, 1986\*.

---

\* Buchanan W., Cantril H. How Nations see each other. – Urbana, 1953; Anderson M. S. Britain discovery of Russia, 1553–1815. – L., N. Y., 1958; Branfeubrenner U. The Mirror Image in Soviet-American Relations. – “Journal of Social Issues”, 1961, Vol. 17; White R. Misconceptions in Soviet and American Images. – “The New-York Times”, 5.09.1961; Dieter Groh. Russland und Selbstverständnis Europas. – Neuwied, 1961; International Behavior. – Ed. by Kelman H., N. Y., 1965; Cado M. La Russie dans la vie intellectuelle française, 1839–1856. – Paris, 1967; Finley D., Holti O., Fagon R. Enemies in Politics. – Chicago, 1967; Jervis R. Perceptions and Misperceptions in International Politics. – Princeton, 1976; Perceptions Between the United States and the Soviet Union. Committee on Foreign Relations. U. S. Senate. – Wash., 1978; Kahn H. W. Die Deutschen und die Russen: Geschichte ihrer Beziehungen vom Mittelalter bis heute. – Köln, 1984; Russen und Russland aus deutscher Sicht 9 – 17. “Jahrhundert”. – München, 1985; Keen S. Faces of the Enemy. Reflections on the Hostil Imagination. – N. Y., 1986.

Имажизм сводится, в сущности, к двум вопросам: “В каком образе один социум (скажем, нация X) предстает перед другим (например, нацией Y)?” И какие последствия для обеих влечет за собой такое восприятие? Вопросы эти могут рассматриваться как на абстрактном уровне (“образ врага в политике” и т. д.) философами, политологами, социологами, этнологами, так – и на весьма конкретном. В последнем случае решающий голос остается за историками, а сами эти общие вопросы могут принять такую примерно форму: Варварские народы в изображении Геродота и Тацита; Германия и немцы в зеркале британской прессы (1914–18, 1939–45); Ислам в христианском сознании и христианство в сознании мусульман; Франция в письмах английских путешественников, XVIII век; “Сид” П. Корнеля и представления французов об испанцах в XVII веке и т. д. до бесконечности. Вопрос о восприятии Западом России и, следовательно, вопрос о корнях русофобии и об ее плодах “вписывается” в эту тематику как нельзя лучше. Западными исследователями он и рассматривался в общем контексте имажистики.

Имажисты из разных стран организовывали свои международные семинары, симпозиумы, конференции. В 1987 году на конгресс имажистов в Сан-Франциско съехалось около 1 500 ученых (!) из американских университетов и со всего мира. Его инициаторы разослали приглашения, в частности, ряду НИИ АН СССР, ведущим советским университетам и некоторым другим вузам. Сборная советская делегация, разбившись на мелкие группы “по интересам”, исправно посещала семинары, одновременно проводившиеся по самой разнообразной тематике, предпочитая, впрочем, больше слушать, чем говорить. Понять такой образ действий довольно просто: она включала в себя историков, социологов, психологов, журналистов-международников и прочих специалистов, имевших хоть какое-то касательство к поднимавшимся вопросам, но все дело-то в том, что *имажистов в ее составе не было!* По причине вполне уважительной: *советских имажистов тогда не было в природе.* Это обстоятельство хорошо просматривается в выступлении А. О. Чубарьяна (директора Института всеобщей истории АН СССР) на “научно-практической конференции международных теоретиков и дипломатов-практиков”, которая проходила в здании МИДа на Смоленской площади в августе 1988 года:

*“Сейчас (!) все большую популярность в мировой исторической науке приобретают так называемые имажинистские (sic!) исследования, или система образов и представлений одних стран и народов в глазах других.*

*Это чрезвычайно важный вопрос для современной дипломатии. Веками складывались стереотипы, формировалась подсознательная психология, которую бывает бесконечно трудно преодолеть и сломать (?!). Ученые должны дать дипломатам и теоретическую базу, и конкретные материалы о том, как русские виделись и видятся в Италии и Англии, в Финляндии или в Афганистане, в Польше или в Германии (курсив всюду мой. – Ф. Н.)”.*

Спали долго, но наконец-то проснулись и, взглянув на то, чем уже не первое десятилетие занимаются западные коллеги по общественным и гуманитарным наукам, изумились. “Сейчас... приобретают” нельзя расшифровать иначе, как – в конце 80-х годов XX века. Но разве только тогда течение это приобрело “большую популярность в мировой исторической науке”? Книга Глисона “Происхождение русофобии в Великобритании” (1950) была, положим, “первой ласточкой” этого направления научной мысли. Но ведь в любом случае, как ни считать, уже в конце тех же 50-х – в начале 60-х годов оно превращается в *главное* течение общественной мысли и остается им никак не менее *четверти столетия* до того торжественного момента, когда о его значимости как о последней и чрезвычайно важной новости были оповещены советские дипломаты. Почему же в течение этой четверти столетия ученые, например, из Института всеобщей истории или из Института Европы АН СССР так и не дали ни теоретической базы, ни конкретных материалов по вопросу о том, “как русские виделись и видятся в... Англии, в Польше или в Германии”? Почему научный руководитель первого из этих академических институтов только в 1988 году счел за благо всего лишь *сформулировать* эти вопросы? Очевидно,

потому, что сколь-либо содержательное исследование этой темы не могло обойти стороной проблему русофобии в этих странах. *Западные* ученые ее и не обходили; более того, *только они* ее и разрабатывали, употребляя при этом заповедное для русских слово “руссофобия” с такой, на зависть, очаровательной непринужденностью, как будто так и надо было. Советским ученым подобная вольность категорически возбранялась.

Но – кем и как? Ни письменно, ни устно, ни открыто, ни тайно запрет на слово “руссофобия” не мог быть наложен. По той важной причине, что административные табу неизбежно облакаются именно в **вербальную** форму. Вот почему, чтобы подвергнуть остракизму слово, успевшее по неустановленной причине превратиться для власти в *persona non grata*, требовалось **назвать** его, хотя бы только однократно, что немедленно вело к самоупразднению запрета.

### Красная руссофобия

Тут приходится задать *опасный* – во всяком случае в советскую эпоху – вопрос: как относились к России первые руководители СССР Ленин и Сталин? Ответ мы находим в великолепной по глубине и по тонкости анализа работе Д. В. Колесова “И. В. Сталин: право на власть”, вышедшей, разумеется, уже в наше время.

Автор отмечает, что “Ленин считал благом все, что могло бы ослабить существующую власть: он радовался в начале века голоду в связи с неурожаем (будут крестьянские волнения!), радовался поражению царской России в войне с Японией в 1904 году (началась первая русская революция!) и т. д. По принципу: “чем хуже, тем лучше”.

Напротив, Сталин был патриотом России и потому он не был “подлинным” революционером, готовым сжечь хоть весь мир во имя интернациональной идеи... И не случайно в период Первой мировой войны Сталин был не революционным “большевиком-пораженцем”, а “оборонцем” подобно большинству социал-демократов Европы.

Не случайно Сталина глубоко задело поражение России в войне с Японией, которое он считал не радостным (предреволюционным!) событием, как Ленин, а национальным позором. Через сорок лет это отлилось Японии в том масштабе и в том яростном натиске Советской Армии, от которого в течение нескольких дней развалилась гордость императора – вооруженная до зубов Квантунская армия; вот что Сталин заявил в связи с этим: “. . . поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа **тяжелые воспоминания**. Оно легло на нашу страну **черным пятном**. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита, и пятно будет ликвидировано. **Сорок лет ждали мы**, люди старшего поколения, **этого дня**. И вот, этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции”. Как видим, весьма серьезное отступление от “ленинизма!”\* (Курсив всюду мой. – **Ф. Н.**)

Своей победой в Гражданской войне Советы (а следовательно, и партия большевиков) не в последнюю очередь обязаны были, по признанию Ленина, вполне антипатичному для него и для интернационалистов вообще чувству патриотизма, которое “все еще” владело широкими массами “так называемой”, по его же словам, “великой нации”:

“Это поворот *не случайный, не личный* (курсив В. И. Ленина. – **Ф. Н.**). Он касается миллионов и миллионов людей, которые поставлены в России в положение среднего крестьянства... Поворот касается всей мелкобуржуазной демократии. Она шла против нас с озлоблением, доходящим до бешенства, **потому что мы должны были ломать все ее патриотические чувства** (вы-

\* Колесов Д. В. И. В. Сталин: право на власть. – М., 2000, с. 16–18.

делено мной. — Ф. Н.)<sup>\*\*</sup>. И ломали, стоит заметить, с наслаждением — не только по политической необходимости или из чувства “интернационального долга”. В записке Ленина “К вопросу о национальностях или автономизации”, написанной, в первую очередь, для Л. Д. Троцкого, мы находим: “Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой великой нации (хотя великой только своими насилиями, великой только как держиморда) должен состоять... (курсив мой. — Ф. Н.)<sup>\*\*\*</sup>. Какие тонкие намеки! “Так называемая” великая нация осталась так и не названной по имени. Хотелось бы только знать, кто из русофобов отказался бы поставить свою подпись под приведенным выше высказыванием вождя мирового пролетариата о нации-инкогнито? “Ленинская гвардия” по тому же вопросу занимала позицию куда более открытую, чем сам Ленин. Так, с трибуны XI съезда РКП(б) один из видных ее представителей Н. А. Скрыпник говорил, обходясь без аллюзий: “Только ненависть и презрение может вызвать прежняя царская Россия”<sup>\*\*\*\*</sup>. А вот отрывок из речи Л. Троцкого (декабрь 1918 г.), произнесенной перед партактивом г. Курска и записанной или, вернее, законспектированной по памяти одним из участников собрания:

*“Патриотизм, любовь к родине, к своему народу, к окружающим, далеким и близким, к живущим именно в этот момент, к жаждущим счастья малого, незаметного, самопожертвование, героизм — какую ценность представляют из себя все эти слова-пустышки... \*\*\*\* (Курсив мой. — Ф. Н.).*

Но кто из близких, из окружающих сможет поверить, что все услышанное не выдумка, не плод моей собственной фантазии?”

На переломе Гражданской войны русский патриотизм повернул в сторону большевиков (чем сам перелом и был, собственно, предопределен). Но повернули ли при этом и большевики, со своей стороны, навстречу русскому патриотизму? Нет, ни одного шага в этом направлении сделано не было — ни тогда, ни в течение всех двадцатых годов. Причина столь холодной сдержанности по отношению к патриотическим чувствам подавляющего большинства русского народа разъясняется сама собой при знакомстве с одной из резолюций Конференции заграничных секций РСДРП (Берн, февраль-март 1915). В резолюции “О лозунге “защиты отечества”, носящей, безусловно, мировоззренческий характер, черным по белому прописано:

“В основе действительно-национальных войн, какие имели место, особенно в эпоху 1789—1871 гг., лежал длительный процесс массовых национальных движений, борьбы с абсолютизмом и феодализмом, свержения национального гнета и создания государств на национальной основе как предпосылки капиталистического развития.

Созданная этой эпохой национальная идеология оставила глубокие следы в массе мелкой буржуазии и части пролетариата. Этим пользуются теперь, в совершенно иную, империалистическую эпоху, софисты буржуазии и плетущиеся за ними изменники социализму для раскалывания рабочих и отвлечения их от их классовых задач и от революционной борьбы с буржуазией.

Больше, чем когда бы то ни было, верны теперь слова “Коммунистического манифеста”, что “рабочие не имеют отечества”. Только интернациональная борьба пролетариата против буржуазии может охранить его завоевания и открыть угнетенным массам путь к лучшему будущему”<sup>\*\*\*\*\*</sup>.

\* Ленин В. И. Полн. Собр. соч., т. 37, с. 215—216.

\*\* Там же.

\*\*\* 11-й съезд РКП(б). Март-апрель 1922 г. Стенографический отчет. М., 1968, с. 74.

\*\*\*\* Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи/ Сост. М. Лобанов, М., 1995, с. 105—106.

\*\*\*\*\* ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть I (1898—1925). — Партиздат ЦК ВКП(б), 1936, с. 225.

В исконно марксистском мировоззрении, в “классовом сознании пролетариата” патриотизму места нет. С патриотическими настроениями “миллионов и миллионов людей, которые поставлены в России в положение среднего крестьянства”, допустимо было *играть*, выставляя в тактических целях, например, лозунг “Все — на защиту Социалистического отечества!”. Но как только гроза проходила стороной, его надобно было убирать подальше — куда-нибудь “с глаз долой и из сердца вон!”

Так все-таки: были ли русофобами Ленин, его ближайшие соратники и соратники, а также лица, составляющие более широкий круг, известный в свое время под именем “ленинская гвардия” или “старая гвардия”? Нам над поставленным вопросом нет нужды долго размышлять — готовый и почти исчерпывающий ответ на него мы находим в цитированной выше работе Колесова:

“С вопросом об отношении к государству связан и вопрос о патриотизме. Маркс считал себя “гражданином мира”. И поэтому применительно к нему о патриотизме речи вообще быть не могло. Ленин высмеивал патриотизм как буржуазный предрассудок: его “пролетарский интернационализм” должен был полностью вытеснить патриотизм и национальные интересы. Он требовал: “во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе, во-вторых, ... способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала” (ПСС, т. 41, с. 165–166). Ему близка была “пролетарская линия”, которая говорит, что “социалистическая революция дороже всего и выше всего” и чужда была “линия буржуазная”, которая говорит, что “государственная великодержавность и национальная независимость дороже всего и выше всего” (ПСС, т. 36, с. 254).

Можем ли мы после этих — канонизированных — утверждений не верить Соломону, который вспоминал слова Ленина: “Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать, — это только этап, через который мы проходим к мировой революции!” Автор делает вывод: “Мы ясно понимали, что Россия и ее народ — это в глазах большевиков только определенная база, на которой они смогут держаться и, эксплуатируя и истощая которую, они могут получить средства для попыток организации мировой революции” (см. Соломон Г. А. Среди красных вождей. — М., 1995).

Троцкий в этом вопросе был последовательным “ленинцем”, тогда как Сталин явно отступал от “ленинизма”...”\*

Не знаю, в какой мере мемуары Г. Соломона заслуживают доверия, а потому обратимся к идеям, высказанным самим Лениным. Каково его отношение, прежде всего, к тому почтенному феномену, что обычно обозначается как “национальная культура”? Тот же вопрос Владимир Ильич задает себе самому и отвечает на него с четкостью, исключаяющей какие-либо кривотолки:

“Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело — бороться с господствующей черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов...”\*\*

Что же, позвольте спросить, нет в России ничего заслуживающего восхищения или хотя бы уважения? Исчерпывающий ответ мы находим в ленинской статье “О национальной гордости великороссов”: “Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину ... Мы гордимся тем, что эти насилия (чинимые “царскими палачами”. — Ф. Н.) вызывали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс...”. В конечном сче-

\* Колесов Д. В. И. В. Сталин: право на власть. — М., 2000, с. 16–17.

\*\* Ленин В. И. ПСС, т. 24. — М., 1954, с. 122.

те, собой, собой, встав перед зеркалом, гордитесь, дорогие товарищи, “великорусские сознательные пролетарии”!

Из всех героев русской (простите, “великорусской”!) более чем тысячелетней истории, помимо Радищева, поименно названо еще только одно лицо (согласитесь, не щедро). Догадаетесь, кто? Вопрос “на засыпку”: в самом деле, кто мог бы еще сравниться своим величием с Радищевым? Оказывается, только Чернышевский. И вот по какой причине: “...Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: “жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы”... По-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения”\*

А, по-нашему, то была “особая любовь” нетрадиционной ориентации – той самой, которой придерживался и сочинитель “Философического письма”, и летописец “Истории города Глупова”, и, наконец, сам автор цитируемой здесь статьи. Характерной особенностью “нетрадиционной любви” к отечеству следует признать амбивалентность отношения “любящего” к “предмету” его страсти: такая любовь проявляет себя как неутолимая ненависть. То есть как **руссофобия**. Руссофобия, нужно добавить, может быть амбивалентной, но далеко не всегда таковой бывает.

И все-таки: этого одиозного или, по меньшей мере, подозрительного слова во всей книге Колесова и “днем с огнем” при всем старании не обнаружить. Раскрытие *реалии*, которую оно обозначило бы наилучшим образом, произведено, но самого-то слова как не было, так и нет, – оно остается под запретом.

#### “Профи” и дилетанты, “практики” и “теоретики”

Из беседы И. В. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом (13 декабря 1931):

**Людвиг.** Ленин провёл долгие годы за границей, в эмиграции. Вам пришлось быть за границей очень недолго. Считаете ли Вы это Вашим недостатком, считаете ли Вы, что больше пользы для революции приносили те, которые, находясь в заграничной эмиграции, имели возможность вплотную изучать Европу, но зато отрывались от непосредственного контакта с народом, или те из революционеров, которые работали здесь, впитали настроение народа, но зато мало знали Европу?

**Сталин.** Ленина из этого сравнения надо исключить. Очень немногие из тех, которые оставались в России, были так тесно связаны с русской действительностью, с рабочим движением внутри страны, как Ленин, хотя он и находился долго за границей. Всегда, когда я к нему приезжал за границу, – в 1906, 1907, 1912, 1913 годах, я видел у него груды писем от практиков из России, и всегда Ленин знал больше, чем те, которые оставались в России. Он всегда считал своё пребывание за границей бременем для себя.

Тех товарищей, которые оставались в России, которые не уезжали за границу, конечно, гораздо больше в нашей партии и её руководстве, чем бывших эмигрантов, и они, конечно, имели возможность принести больше пользы для революции, чем находившиеся за границей эмигранты. Ведь у нас в партии осталось мало эмигрантов. На 2 миллиона членов партии их наберётся 100–200. Из числа 70 членов ЦК едва ли больше 3–4 жили в эмиграции.

Что касается знакомства с Европой, изучения Европы, то, конечно, те, которые хотели изучать Европу, имели больше возможностей сделать это, находясь в Европе. И в этом смысле те из нас, которые не жили долго за границей, кое-что потеряли. Но пребывание за границей вовсе не имеет решающего значения для изучения европейской экономики, техники, кадров рабочего движения, литературы всякого рода, беллетристической или научной.

---

\* Ленин В. И., т. 26, с. 107.

При прочих равных условиях, конечно, легче изучить Европу, побывав там. Но тот минус, который получается у людей, не живших в Европе, не имеет большого значения. Наоборот, я знаю многих товарищей, которые прожили по 20 лет за границей, жили где-нибудь в Шарлоттенбурге или в Латинском квартале, сидели в кафе годами, пили пиво и всё же не сумели изучить Европу и не поняли ее”\*.

В 1931 году – до Большого террора, но уже после больших чисток – в партии “их набиралось” 100–200 человек, включая 3–4 членов ЦК. А сколько “их”, эмигрантов от социал-демократии, было за рубежами Российской империи, скажем, в 1911 году? Точными данными об “их” численности я не располагаю, но некоторое представление о ней, приблизительную ее оценку, можно вывести из того факта, что в “совещании заграничных большевистских групп” (Париж, декабрь 1911) приняли участие делегаты от партийных “групп” из Парижа, Нанси, Цюриха, Давоса, Женевы, Льежа, Берна, Бремена и Берлина\*\*. “С сочувствием отнеслись к идее большевистского совещания, но не могли прислать своих представителей отчасти по техническим, отчасти по материальным затруднениям большевики из Тулузы, Лозанны, Лондона, Брюсселя, Антверпена, Копенгагена, Ниццы, Г., Л., К., М., Ш. и Г.”\*\*\*, – значится в проекте резолюции, представленном совещанию Лениным. Загадочные буквы (Г., Л. и т. д.) указывают, наверное, на местонахождение большевистских организаций, возможно, еще не “засвеченное” царской полицией. Итак, какова примерная численность большевистской диаспоры в 22 (!) городах Западной Европы? Без гадания на кофейной гуще тут, увы, не обойтись: метод сам по себе сомнительный, зато его итог – от тысячи как минимум и двух тысяч как максимум – представляется достаточно правдоподобным. Отдавая дань педантству, следует отметить: социал-демократическое “рассеяние” в целом было шире, чем только большевистское. Была меньшевистская эмиграция в Европе, была троцкистская (в основном, в Америке), были и другие заграничные группы эсдеков. Однако, по-видимому, только большевистские группы за рубежом испытывали потребность в координации своих действий – на том же Совещании (1911) было принято решение о создании Заграничной организации РСДРП. Она-то и подготовила, так сказать, “второе рождение” партии на Шестой (Пражской) Общепартийной конференции РСДРП (1912).

Каково “социальное лицо” большевистской эмиграции (зародившейся, к слову сказать, в 1900 году, вместе с ленинской “Искрой”, то есть за три года до того, как появились “большевики” и “меньшевики” на II съезде РСДРП в 1903 году)?

Профессиональные революционеры, составившие, по Ленину, “устойчивую и хранящую преемственность организацию руководителей”\*\*\*\*, вербовались в огромном большинстве своем именно из интеллигенции. Говоря “руководители”, Ленин указывал в скобках на синонимичность их обозначения (“идеологи”, революционеры, социал-демократы)\*\*\*\*\*.

А кто мог заниматься пропагандой? Или, более пространно, кто был достаточно компетентен, чтобы взять на себя миссию внесения марксистской идеологии в рабочее движение? И опять ответ мы находим у Ленина: “Мы сказали, что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть привнесено только извне. ...Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социа-

\* Сталин И. В. Соч., т. XIII. М., 1951, с. 120–121.

\*\* ВКП(б) в резолюциях... Часть I, с. 174.

\*\*\* Там же, с. 178.

\*\*\*\* Ленин В. И. ПСС, т. 6, с. 124.

\*\*\*\*\* Там же.

листической интеллигенции”\*. И так, *образованность* была, естественно, тем цензом, тем неперенным условием, без соблюдения которого невозможно было стать полноценным пропагандистом марксизма. Поскребите любого так называемого “сознательного пролетария” – вы непременно под этим почетным титулом обнаружите “революционно-социалистического интеллигента”. Он же (правда, в другом уже контексте) – “интеллигент буржуазный”.

Поскребите любого пролетария “от станка” – вы не обнаружите в нем, сколько ни скрести, никого иного, кроме самого пролетария. Однако же не вполне сознательного. К примеру, так и не успевшего после 11-часового труда на фабрике усвоить различие между потребительной стоимостью производимого им продукта и его же стоимостью. Это, однако, не беда: и его **тоже**, если он “подает надежды”, партия возьмет на свое содержание, обучит хитростям конспирации, приспособит к выполнению той или иной функции или даже – к выполнению нескольких разных функций. За исключением, впрочем, одной – пропагандистской. Он будет “практиком”, а не “теоретиком”. И будет выполнять свою функцию (или свои функции) в пределах России, а не за рубежом.

Та мысль Ленина, что социал-демократическое сознание (марксистскую идеологию или теорию) следует вносить в рабочее движение “извне”, оказалась справедливой даже в двойном отношении. Во-первых, в первоначальном смысле: оно было привнесено из среды социал-демократической интеллигенции. Во-вторых, “извне” приобрело и такое значение: извне России, то есть из-за рубежа. Нелегальная и, главное, регулярная доставка в Россию номеров “Искры”, подготовленных к печати и отпечатанных за рубежом, решила задачу создания партии.

Но какое отношение, спросите вы, все это имеет к интересующей нас теме русофобии? Представьте себе, отношение довольно близкое, и следующий пассаж из книги Колесова возвращает нас к ней:

“В результате октябрьского переворота власть в стране поначалу захватили профессиональные революционеры-“эмигранты” во главе с Лениным, много лет прожившие за рубежом и относившиеся к России как к внешнему объекту, а не как к родной стране. Именно эта, достаточно для нее чужеродная, группа “интернационалистов”-пришельцев в первые послереволюционные годы доминировала в партии и стране. Патриотизм они отрицали, национальных границ не признавали, культурных традиций не ценили. Отсюда их разрушительная активность.

Было у них немало черт, которые выделяли данную группу индивидов из общего российского фона и связывали ее (до поры!) в некую специфическую общность. Они имели многолетний опыт литературно-публицистической деятельности, дискуссий в зарубежных кафе, опыт партийных объединений, расколов и новых объединений. У них были свои критерии взаимных оценок, собственная система ценностей, где наиболее весомыми качествами были яркость текста или публичного выступления, ораторские данные.

И вот в состав этой чужеродной для страны группы профессиональных революционеров-“эмигрантов” вошел человек, в свою очередь для нее чужеродный: грузин с окраины России. Его жизненный опыт принципиально отличался от их жизненного опыта, равно как и культура, образование, бытовые привычки. Будучи **единственным из числа “туземных” революционеров** (так называл их Троцкий) в составе высшего руководства партии, а также **единственным человеком с религиозным образованием** в высшем руководстве, он одновременно был одним из немногих, имевших опыт неоднократного пребывания в ссылке и побегов из нее. А также **единственным, имевшим опыт насильственных экспроприаций** и общения с представителями уголовного мира (подчеркнуто всюду Д. Колесовым. – **Ф. Н.**)”\*\*.

\* Ленин В. И., с. 30–31.

\*\* Колесов Д. В. Указ. соч., с. 135–136.



Итак, Сталин – исключение из правила. Потому и разговор о нем особый. Сейчас же поговорим о самом правиле: приложим ли к тому социуму, коллективный портрет которого выше был представлен, эпитет *русобобский*? Колесов к нему **не** прибегает. Но при этом дает “специфической общности” такую характеристику, что удержаться от приложения к ней именно этого “запятого, заповедного слова” нет никакой возможности:

“России профессиональными революционерами–“интернационалистами” отводилось одно: быть источником людских и материальных ресурсов для продолжения и расширения мировой революции. В 1920 году по замыслу Ленина–Троцкого, в разгар “военного коммунизма” и хозяйственной разрухи, революционная армия России должна была распространить влияние большевиков в европейском масштабе.

Голодные, полураздетые и плохо вооруженные “пролетарии” были направлены под руководством Тухачевского брать Варшаву, а затем идти на Париж, присоединяя к себе все новые и новые боевые отряды пролетариев. И так по всей Европе, а в перспективе – и по всему миру, погибая от голода, лишений и боевых действий во имя мировой революции и “социализма”.

Только успех Пилсудского отрезвил руководство большевиков и положил конец этим замыслам.

Теория перманентной революции базировалась на абсолютном отрицании понятий государственности и патриотизма – как “устаревших” и “исторически обреченных”. Естественно, что она встречала противодействие тех, кто не был склонен ликвидировать собственное государство ради создания некоей Всемирной республики Советов.

...Поскольку довольно быстро выяснилось, что, говоря по-украински, “дурных нэма” – желающих включиться в мировую революцию в любой стране явно ничтожное меньшинство, – положение сторонников мировой революции в стране, с которой эта революция началась, то есть в России, стало в высшей степени двусмысленным. Если уж надежд на расширение мировой революции нет, то продолжение усилий этой страны по разжиганию мирового революционного пожара, требующего от нее напряжения всех сил и максимальной затраты ресурсов, становилось вредительством по отношению к этой стране и ее народу. Во имя чего такие затраты и жертвы, раз уж стало ясно, что с мировой революцией ничего не получается?

Выходило лишь одно: данная страна ослабляется в сравнении со всеми прочими странами и утрачивает свои геополитические позиции. Упорство сторонников мировой революции внутри страны в данных условиях превращается в подрывную деятельность”\*.

Подпадает ли под категорию “фобия” подрывная деятельность против своей страны?

### *Белая русофобия versus русофобия красная*

Вернёмся к прерванному обсуждению красной русофобии:

“Старшие поколения за свою жизнь дважды пережили насильственную ломку “календаря праздников”. Это тяжёлая травма. Первая кампания проводилась в 20-е годы большевиками–“космополитами” с целью демонтировать старый (“имперский”) русский народ. По мере того как люди объединялись уже в облике советского народа, нарастал накал этой кампании. Изживались и Новый год, и Рождество с ёлкой, и даже праздничное поминание войны 1812 года. В 1927 г. Главный репертуарный комитет запретил публичное исполнение увертюры Чайковского “1812 год”. Свернуть

---

\* Колесов Д. В., с. 76–77.

всю эту кампанию удалось только жестокими методами после разгрома “оппозиции” в ВКП(б). Резкий поворот был совершён в мае 1934 г. — был открыт исторический факультет в МГУ, вернулись и ёлка, и увертюра “1812 год”.

То знамя похода против коллективной памяти подхватили “шестидесятники” в хрущёвскую “оттепель”. Режиссёр Михаил Ромм, выступая 26 февраля 1963 г. перед деятелями науки и искусства, заявил: “Зачем Советской власти под колокольный звон унижать “Марсельезу”, великолепный гимн Французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна?” Ромм увязал увертюру Чайковского с “советским антисемитизмом”, а сегодня израильский историк Дов Конторер увязывает эту увертюру с “русским фашизмом”. Он пишет о том демарше Ромма: “Здесь мы наблюдаем примечательную реакцию художника-интернационалиста на свершившуюся при Сталине фашизацию коммунизма”\*.

Не русофобы ли М. Ромм и Д. Конторер? Вопрос, очевидно, риторический. Но не скрытые ли они, уж заодно, и антисемиты? Должны же были они давать себе отчет в том, каким “эхом” в русских душах их “слово” отзовется. Не провокация ли это? Консультанты от наших потенциальных союзников оказались бы при разрешении недоразумения как нельзя более кстати.

Теперь вопрос к автору приведенной выдержки. Считает ли он попытку “демонтировать старый (“имперский”) русский народ” проявлением русофобии? Разумеется, колонка “ЛГ”, которую С. Г. Кара-Мурза регулярно ведет, слишком тесна для сколь-либо развернутой характеристики упомянутого “демонтажа”. Однако свое понимание затронутой им же проблемы *красной* русофобии он мог с необходимой полнотой изложить, например, на страницах двухтомного труда “Советская цивилизация”. Чего не сделал.

Это тем более странно, что Кара-Мурза отдает себе, несомненно, отчет в важности проблемы русофобии вообще, причем и зачатого слова несколько не чурается. Правда, в иных контекстах: “Духовное расхождение, а временами и конфликт монархии с обществом в XIX веке был вызван тем, что не удавалось найти приемлемый проект модернизации России в условиях нарастающей после 1813 г. русофобии”\*\*. И ниже: “Истоки и основания русофобии на Западе совершенно спокойно изучаются историками. Самое поразительное как раз в том, что этот факт (насколько понимаю я, сам факт наличия русофобии как некоей реальности. — Ф. Н.) отрицается в России, но спокойно и в целом верно объясняется, например, во “Всемирной истории”, написанной 80 “лучшими” историками мира. На Западе эта базовая книга стоит на полках в каждом школьном кабинете истории. Том 31 — “Россия” — написан немцами”\*\*\*. И я — о том же. Отрадно встретить единомышленника!

Другое дело — насколько далеко это нежданно-негаданно обретенное единомыслие простирается.

Первый для него оселок — вопрос о *белой русофобии*. О ней Кара-Мурза пишет так:

“На деле за политическими категориями стоял *социальный расизм* — невозможность вытерпеть власть “низших классов”. Это был фундаментальный фактор, важнейшая культурная предпосылка к Гражданской войне, снимавшая запрет на “убийство ближнего”. Социальный расизм был характерен даже для умеренно левых философов из бывших марксистов, которые перешли на сторону противников революции. Например, Н. А. Бердяев излагал совершенно определенные расистские представления. В книге “Философия неравенства” он писал: “Культура существует в нашей кро-

\* Кара-Мурза С. Спектакль “7 ноября”. — “Литературная газета”, 14–20 ноября 2007.

\*\* Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Книга первая. От начала до Великой Победы. — М., 2001, с. 196.

\*\*\* Там же, с. 330.

ви. Культура – дело расы и расового подбора... “Просветительное” и “революционное” сознание... затемнило для научного познания значение расы. Но объективная незаинтересованная наука должна признать, что в мире существует дворянство не только как социальный класс с определенными интересами, но как качественный душевный и физический тип, как тысячелетняя культура души и тела. Существование “белой кости” есть не только сословный предрассудок, это есть неопровержимый и неистребимый антропологический факт”<sup>\*</sup>.

“Бунин изображает “окаянные дни” с такой позиции, которую просто немыслимо разделять русскому патриоту. Ведь в Бунине говорит прежде всего сословная злоба и социальный расизм. И ненависть, которую не скрывают – святая ненависть. К кому же? К народу. Он оказался не добрым и всепрощающим богоносцем, а восставшим хамом”<sup>\*\*</sup>.

Далее следуют обширная выдержка из “Окаянных дней” И. А. Бунина и окончательный вывод:

“Здесь – представление всего “русского простонародья” как биологически иного подвида, как не ближнего. Это – извечно необходимое внушение и самовнушение, снимающее инстинктивный запрет на убийство ближнего, представителя одного с тобой биологического вида. Это, кстати, и есть самая настоящая русофобия”<sup>\*\*\*</sup>.

Перечитываю приводимую цитату заново, потом снова – “Окаянные дни”, целиком и “с пристрастием”. И вынужден скрепя сердце признать: да, “это и есть самая настоящая русофобия”. По-другому не скажешь. Как же еще иначе можно оценить такой, например, пассаж? “А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, – сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая...”<sup>\*\*\*\*</sup>. Нашел, в чем упрекнуть (или, вернее, чем попрекнуть)! За большого русского писателя больно и стыдно – так, как это бывает, наверное, тогда, когда близкий и дорогой человек совершает низкий поступок. Впрочем, справедливости ради, надо сказать: у Бунина можно отыскать и прямо противоположные оценки людей из народа. Всё-таки Иван Алексеевич – поэт, а не идеолог!..

В Европе, вообще говоря, во времена острых социальных конфликтов их участники нередко пытались представить эти конфликты, самих себя и своих политических противников в свете конфликтов этнических, давным-давно успевших стать достоянием истории. В годы Английской революции в стане индependентов, тех, кто вместе с Кромвелем сражался против Карла I, ходили памфлеты, в которых авторы себя и своих соратников называли “англосаксами”, своих противников, “кавалеров”, сторонников короля – “нормандцами”, представляя свою победу над королевской властью как реванш за поражение, нанесенное англам и саксам Вильгельмом Завоевателем. В эпоху Французской революции (1789–1794) некоторые представители французского дворянства сочли нужным подчеркнуть: благородное (второе) сословие восходит как к своему источнику к франкам, а вот простонародье, канальи (la canaille – сволочь, сброд), – это уж сущие галлы, покоренные франками. Их оппоненты из лагеря третьего сословия “подхватили мяч” и ловко переправили его на “половину противника”; “галлы” при этом оказались наделенными всеми мыслимыми добродетелями, а “франки” – всеми, даже едва поддающимися воображению, пороками. Впрочем, не следует преувеличивать значимость “этнической” перепалки как в Англии сороковых годов XVII века, так и во Франции конца XVIII: основные идеологические баталии в преддверии и в хо-

\* Кара-Мурза С., с. 245.

\*\* Там же, с. 294.

\*\*\* Там же, с. 295.

\*\*\*\* Там же.

де революции в обеих странах разворачивались в иных “плоскостях”. Что касается “вопроса этнического”, то ему, скорее, отводилось место “дивертиссимента” между основными дискуссиями.

Однако во Франции положение коренным образом изменилось к 20-м годам XIX века, когда “историки эпохи Реставрации” (прежде всего, Ф. Гизо и О. Тьерри) возглавили идейный натиск буржуазии на режим Бурбонов, представив всю историю Францию как “войну классов”, или, если дословно, как “классовую войну” (*guerre de classes*), а последнюю – как извечное (но все же не вечное, а имеющее конец) противостояние потомков побежденных галлов потомкам победителей франков. Июльская революция 1830 года как раз и представлялась окончательным решением франко-галльской исторической тяжбы в пользу “галлов” против “франков” (дворянства). В дальнейшем антагонизм между пролетариатом и буржуа (и тот, и другой – “галлы”) заставляет идеологов отказаться от “этнических ярлыков” внутри страны и перейти к “чистому” социальному расизму (например, Лебон), объяснявшему социальные различия естественным отбором, биологической полноценностью высших классов и неполноценностью низших. Что же касается “этнического расизма”, то он не то чтобы переключался в востоковедение (с самого зарождения последнего он оставался важнейшей его компонентой), но, так сказать, сосредоточился в нем, превратившись в теоретическую основу и в моральное оправдание практики колониализма.

Именно Франция в этом – как и во многих других – отношении шла “впереди Европы всей”. Крупнейший в XX веке американский исследователь истории западного ориентализма Эдвард В. Саид (палестинский араб по происхождению) отмечал: “Большая часть из расистских элементов, присутствующих в упреках Шлегеля (1772–1829. – Ф. Н.) в адрес семитов и других “низших” народов, была широко распространена в европейской культуре”\*. Вместе с тем генеалогию расистских идей и связанных с ними художественных образов, буквально завоевавших ум и воображение Европы в эпоху высшего расцвета колониализма, он исчислял не от Шлегеля, а от французского барона Ж. А. Гобино (1816–1882), автора знаменитого четырехтомного трактата “О неравенстве человеческих рас” (1853–1855)\*\*.

Однако “силовое поле” этого труда охватило собой, помимо востоковедения (как европейского, так и американского, **но не русского!**), широкую область так называемой “социальной антропологии”. Гобино стал основателем “антропологической школы”, в рамках которой объединились французские (Лапуж, Летурно), английские (Гальтон), германские (Аммон, Чемберлен), австрийские (Гумплович), американские (Хантингтон, Хутон) социологи-расисты, если упомянуть лишь их главных представителей (“имя же им всем – легион”).

Так, Ж. Ваше де Лапуж (1854–1936) подразделял человечество по пропорциям черепа на “длинноголовых” и “короткоголовых”: первые относятся к арийской или, иначе, к нордической расе, вторые – к низшим расам. Согласно его концепции, цивилизация зарождается, когда “длинноголовые” покоряют “короткоголовых” и принуждают их работать на себя, и приходит к гибели, когда победители смешиваются с побежденными. Ш. Летурно (1831–1902), обмерив сотню-другую черепов, принадлежавших представителям разных социальных групп, обнаружил (во всяком случае, так ему казалось), что объем “аристократического” черепа “в среднем” превосходит вместимость “простонародной” головы. Из чего следовал самоочевидный (по крайней мере, для исследователя) вывод о том, кто кем самой природой призван командовать. Тем временем в Германии Отто Аммон (1842–1916) утверждал в своей “Социальной антропологии” (1896), что классовое разделение человеческого общества продолжает “работу” естественного отбора, выступал поборником “чистоты крови” и требовал, чтобы “дети, предназначенные для высокого жизненного положения” не ходили в те школы, где им угрожало бы “смешение” с детьми из низших классов. Низшие классы рассматривались им как производные от некогда покоренных низших рас – таким образом, социальный расизм и расизм этнический сливались в его концепции воедино. Х. Чемберлен

\* Эдвард В. Саид. Ориентализм. Западные концепции Востока. – Санкт-Петербург, 2006, с. 154.

\*\* Там же.

(1855–1927), натурализовавшийся в Германии англичанин, вслед за французами бароном Ж. А. Гобино и Ж. Лапужем, развивал идею превосходства арийской расы над всеми прочими, из чего выводил превосходство германцев, самых чистых арийцев, даже и над другими европейскими народами (уже не говоря об азиатах и африканцах).

Идеи Аммона и Чемберлена, подкрепленные философией Ницше, возобладают в германском общественном мнении еще в эпоху второго рейха (их приверженцем заявил себя сам Вильгельм II) и лягут в основание нацистской идеологии. В Англии Гальтон, обеспокоенный “уточнением” аристократического слоя, разрабатывает основы “евгеники”, науки, позволяющей сохранить его, а заодно и вывести новую породу людей с повышенными качественными характеристиками. В Австрии Л. Гумплович (1838–1909), критикуя марксизм, утверждает, что стержнем всеобщей истории следует признать не классовую борьбу, а – борьбу рас за выживание, борьбу, в которой победа высшей расы (и, соответственно, поражение низшей) знаменует собой новый шаг на пути прогресса человечества.

“Антропологическая школа” ненамного старше социал-дарвинизма, возникшего вскоре после выхода “Происхождение видов...” Ч. Дарвина (1859); однако уже в шестидесятые годы XIX века происходит фактическое смешение двух течений, и из этого слияния выходит *mainstream* европейской (и американской, к слову) общественной мысли. Насколько велико было влияние этого “мейнстрима” на русскую науку и, шире, на мировоззрение или, по меньшей мере, на настроения русской интеллигенции? В начале XX века (до 1917) русские интеллигенты увлекались в большинстве своем и главным образом (то есть всерьез и надолго) марксизмом и/или философией Ницше. Каким образом иным удавалось сочетать в своей голове то и другое – это одна из великого множества “загадок русской души”. Другая загадка заключается в следующем. Любование “белокурой бестией” должно было бы привести прямиком к расистской теории, утверждавшей превосходство “арийцев” над “неарийскими” этносами и “чистых арийцев” над метисами. Должно было бы привести, но ведь не привело же!

Вот здесь-то и надобно установить первую веху, отмечающую расхождение моих взглядов со взглядами Кара-Мурзы. “Социальный расизм, – частично повторяю приведенную выше цитату из “Советской цивилизации”, – был характерен даже для тех умеренно левых философов из бывших марксистов, что перешли на сторону противников революции. Например, Н. А. Бердяев излагал совершенно определенные “расистские представления”. Относительно Бердяева спорить не буду, у меня возражение вызывает лишь одно короткое словечко – “даже”. Приняв его, приходится принять и тот, не высказываемый прямо, тезис, что расистские представления (по меньшей мере “социального”, если не “этнического”, толка) и *подавно* господствовали среди тех “противников революции”, которые ни к левой философии, ни к марксизму никогда никакого отношения не имели, то есть, прежде всего, среди монархистов. Если бы дело обстояло так, то эти *общие для всех “белых”* представления неминуемо сложились бы в идеологию белого движения, так как оно в идеологическом обеспечении остро нуждалось. Нуждалось как для того чтобы “переубедить Россию” в своей правоте, так и для того, чтобы сохранить единство своих рядов, хотя бы только до победы. Тем не менее та “наработка” Бердяева (“Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии”), из которой Кара-Мурза заимствовал приводимую им выше цитату, была опубликована только в 1923 году, хотя была готова к печати уже в 1918-м, в самый разгар Гражданской войны. Так чего же было “после драки кулаками махать”?

Положим, такое запоздание можно объяснить несчастным для книги стечением обстоятельств. Положим! А что, спрашивается, “воспоследовало” бы из самого благоприятного для нее их сочетания, то есть если бы она была отпечатана в тылу, скажем, добровольческой армии Деникина и распространена достаточным тиражом среди тех, кто только пожелал бы ее прочитать? Думаю, последствия оказались бы в точности теми же самыми, что и в первом сценарии событий.

Для того чтобы Россию переубедить, то есть убедить ее в правоте “белого дела”, нужно было бы противопоставить большевикам достаточно связную в своих частях и последовательную в своих выводах идеологию (не одну ка-

кую-либо, пусть и очень привлекательную, идею, а именно систему идей), нужно было располагать “механизмом” и “ноу-хау” ретрансляции этой идеологии на широкие массы, нужно было, наконец, иметь во главе “белого движения” такого вождя, который по притягательной мощи харизмы мог бы хотя бы только сравниться (не говорю уже: “сравниваться”) с Лениным. Невыполнение хотя бы одного из этих условий означало поражение, а невыполненными остались все три...

Если все три условия победы попытаться объединить в одном, то окажется, что у белых не было, да и не могло быть, никакого противовеса *партии большевиков*. В феврале 1917 РСДРП(б) насчитывала около 10 тыс. членов, в апреле того же года – 79 204, на шестом съезде (в августе) были представлены 240 000 членов партии, а на девятом (март-апрель 1920) – уже 611 978, на десятом (март 1921) – 732 521\*. Несколько сот тысяч единомышленников не только мыслили одинаково (“так, как Ильич”), но и говорили в один голос одно и то же, неся свою веру всем, кто желал их слушать: к концу Гражданской войны 732 521 проповедник – это же не шутка! И, по самому малому счету, девять десятых из них готовы были за воплощение коммунистических идеалов заплатить своей кровью и самой жизнью (ну, разумеется, и чужой кровью, и чужими жизнями, без счета и меры). Героическая была партия, героическая! И вот что за ней подсмотрел ненавидевший ее всеми фибрами души И. А. Бунин в Одессе летом 1919 года: “И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское, несомненно, есть”\*\*. Было ли там нечто дьявольское или его там не было – вопрос остается открытым. Как и историческим фактом остается то, что партия большевиков соотносилась с враждебными ей или с конкурирующими с нею партиями и, вообще, с политическими противниками примерно так, как некогда дисциплинированный римский легион противостоял войску варваров, по численности превосходящему его многократно.

У белых имелся один крупный козырь, который они, что примечательно, даже и не попытались разыграть. Это – крестьянство, стонавшее под бременем совершенно произвольной “продразверстки” и требовавшее свободы торговли. Что помешало, скажем, Колчаку пойти навстречу этим требованиям? Добровольческая армия Деникина по пути своего наступления на Москву восстанавливала помещичье землевладение, чем и оттолкнула от себя крестьян. Но на сибирских-то просторах дворянских имений никогда не бывало, в распоряжении у Колчака имелся колоссальный золотой запас, и малой доли которого с лихвой хватило бы на то, чтобы обеспечить снабжение белой армии продуктами крестьянского труда через рынок. Да, это был шанс! Хотя бы только при нейтрализации крестьянства (не говоря уже о перетягивании его на свою сторону) белым наверняка удалось бы взять верх над Советами – по крайней мере, в Сибири.

Что же все-таки помешало? Исчерпывающий, по-моему, ответ мы находим у Кара-Мурзы, в собранных им материалах. Вот, прежде всего, отношение “Верховного правителя России” к русскому народу. “О русском народе он (Колчак), – читаем мы в “Советской цивилизации”, – писал буквально как крайний русофоб времен перестройки: “обезумевший, дикий (и лишенный подобия\*\*\*), **неспособный выйти из психологии раба народ** (выделено мной. – Ф. Н.)... И при власти Колчака в Сибири творили над этим народом такие безобразия, что его собственные генералы слали ему по прямому проводу проклятья”\*\*\*\*. И ниже: “Устыдились белочеги, и 13 ноября 1919 г. они издали меморандум: “Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан...” и т. д.”\*\*\*\*\*.

\* ВКП(б) в резолюциях..., т. I, с. 230, 258, 285, 289, 336, 364.

\*\* Бунин И. А. Окаянные дни. – Санкт-Петербург, “Бионт”, 1994, с. 105.

\*\*\* Нужно думать, “образа и подобия Божьего”, по которым создан человек.

\*\*\*\* Кара-Мурза С. Указ. соч., с. 292.

\*\*\*\*\* Там же, с. 299.

Заключению соглашения между белыми и крестьянством (как в Сибири, так и в Европейской части России) помешала, прежде всего, общая для белых психологическая установка на вполне определенный образ действий в том, что касается характера отношений между белым движением и русским (прежде всего русским, но не только русским) «простонародьем». Установка эта основывалась на взгляде на русский народ именно как на раба по своей природе. А с этим, дескать, «рабом» и нужно поступать, как со всяким восставшим рабом вообще, то есть чем более жестко, тем лучше: «чернь» должна знать свое место. В ответ на жесткий образ действий белых русский народ (опять-таки не только русский) привел неопровержимые доказательства той истины, что «мы не рабы, рабы не мы». Дай только первый толчок насилию — оно завьется спиралью, виток за витком, уже само собой. Чтобы представить себе, как спираль завивалась, не нужно обладать богатым воображением. За первыми попытками сопротивления реквизициям последовали «суровые меры» по отношению к «зачинщикам», после принятия «суровых мер» то здесь, то там, очень разрозненно, стали обозначаться малые очаги восстаний. Казалось бы, затоптать их — проще простого, на каждое из них хватало бы и взвода. Эти легкие победы были одержаны, а деревни, замеченные в помощи бунтовщикам, подвергнуты публичной порке: едва занимавшееся пламя восстания было щедро залито бензином. Вот и запольхало!

... В конце лета — начале осени 1919 года, когда Красная Армия стояла уже на пороге Сибири, армия Колчака должна была не только сдерживать натиск красных примерно по линии Екатеринбург—Оренбург, но — и вести упорные бои у себя в тылу. Например, в Енисейской губернии почти одновременно возникли *Степно-Баджуйская партизанская республика* и *Тасеевская партизанская республика*. А вот что происходило на *Алтайском фронте*: «Колчаковское командование направило для подавления партизанского движения на Алтае около 18 тыс. штыков и сабель при 18 орудиях и 100 пулемётах. Первое наступление противника в октябре партизаны отбили. В начале ноября белогвардейцы ввели в бой новые крупные силы при поддержке и бронепоездов, но партизаны снова одержали победу, что оказало большое влияние на дальнейшие события на Алтае. Солдаты колчаковских войск стали переходить на сторону партизан или разбегаться. Так, в ночь на 28 ноября солдаты 43-го и 46-го полков восстали и перешли к партизанам. То же самое сделали команды бронепоездов «Сокол», «Туркестан» и «Степняк»...»\*. Начинали партизаны воевать лишь с берданками в руках, а кончили — уже с бронепоездами.

Примерно по тому же сценарию разворачивались события в тылу у белых и на других фронтах Гражданской войны.

«Ненависть низов (в основном крестьянства) и верхушки белых была взаимной и принимала почти расовый характер. Об этом пишет в своих воспоминаниях «Очерки русской смуты» А. Деникин. Полезно почитать и письма адмирала Колчака. Этой ненависти к простонародью не было и в помине у красных, которых видели крестьяне — Чапаева или Щорса. Они были «той же расы». Это и решило исход Гражданской войны — при том, что хватало жестокостей и казней с обеих сторон.

В Гражданской войне любая армия снабжается тем, что удастся отнять у крестьян. Главное, что нужно для армии, это люди, лошади и хлеб. Конечно, крестьяне не отдавали все это своей охотой ни белым, ни красным. Исход войны определялся тем, как много сил приходилось тратить на то, чтобы все это получить. Это и есть важнейший для нас эксперимент. Красным крестьяне сопротивлялись намного слабее, чем белым (некоторые историки даже оценивают эту разницу количественно, по числу рекрутов: в 5 раз слабее). Под конец все силы у белых уходили на борьбу за самообеспечение — и война закончилась»\*\*.

Короче, весьма специфичная русофобия верхов белой гвардии и, в значительной степени, ее офицерского корпуса (социальный расизм по отноше-

\* «Гражданская война и военная интервенция в СССР». Энциклопедия. — М., 1987, с. 431.

\*\* Кара-Мурза С. Указ. соч., т. I, с. 298—299.

нию к “простонародью”) стала причиной – если не единственной причиной, то, во всяком случае, одной из важнейших причин – поражения Белого движения.

... В “Окаянных днях” есть знаменательная запись словесной стычки автора с одним из *февралистов*, поборников Февральской революции:

“9 марта (1918 г. – Ф. Н.)

Нынче В. В. В. ... понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать:

– Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями... Революция в силу этого была неизбежна...

Я ответил:

– Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, – пусть она неизбежна, прекрасна, все что угодно. Но не врите на народ – ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и Временное правительство, и Учредительное собрание, и “все, за что гибли поколения лучших русских людей”, как вы выражаетесь, и ваше “до победного конца”\*.

Оценка Буниным событий Февраля-Октября 1917 года, на мой взгляд, не только в целом справедлива, но справедлива даже вдвойне. Заклучи Николай II сепаратный мир с немцами (и уж, конечно, на условиях для России куда более выгодных, чем продиктованные ей в Бресте год спустя) – никакой революции тогда *не было бы*. Вот это единственное поистине народное желание самодержец, если хотел сохранить власть (а с нею и жизнь, свою и своей семьи), должен был выполнить беспрекословно. Все остальные предъявлявшиеся ему требования (формирование “ответственного” не перед ним, а перед Думой министерства, “отмены всяческих цензур” и пр. и пр.), – выдвигавшиеся как раз не народом, а будущими *февралистами*, проводниками влияния Антанты и организаторами первой в прошлом веке “оранжевой революции” – царь не только *был волен* отвергнуть, но опять-таки *был прямо обязан* это сделать, если хотел вывести страну из “революционной ситуации”, чреватой Гражданской войной. Это – во-первых.

Во-вторых, именно **русский народ**, а не кто иной, доказал свое верховное право на власть, “сбросивши к черту и Временное правительство, и Учредительное собрание...”. Доказал – и остановился в растерянности. Дальнейшая судьба России решалась, уже в ходе Гражданской войны, в зависимости от того, в какую сторону его основная масса качнется. Свою волю он выразил, причем выразил вполне недвусмысленно, не посредством бюллетеней и урн для голосования (результаты выборов всегда поддаются “коррекции”), а штыками – тем простым фактом, что набору в белые армии не подчинился, а в Красную Армию пошел. Белая русофобия оказалась для него тогда горше красной.

А ведь “белая русофобия” встречается с “руссофобией красной” в *одной фразе* (только что написанной) основного текста – **впервые!** И уж не знаю, к какому шрифту или иному способу выделения прибегнуть, чтобы привлечь внимание читателя к столь знаменательному событию, которое, возможно, со временем обретет достойное место в книге Гиннеса. Теснейшая связь между близнецами (это также стоит подчеркнуть) **никогда не фиксировалась ранее** не только на одной и той же странице, не только в одной и той же статье или монографии, но даже и в собрании сочинений, принадлежащих перу одного и того же автора. Что касается авторов в совокупности, то они, безусловно, подлежат двойной дихотомии. При первой они делятся на тех, кто признает объективную реальность русофобии, и на тех, кто не признает её. Вторая же отделяет тех, кто признает реальность белой русофобии и тем самым отрицает реальность русофобии красной, от тех, кто производит ту же умственную операцию, но в противоположном направлении.

\* Бунин И. А. Указ. соч., с. 32.



Обратимся же к паре примеров, способной конкретно иллюстрировать вторую дихотомию. Дихотомия эта совпадает – и, наверное, не случайно – с традиционным делением русских патриотов на “красных” и “белых”. Обильно цитированная выше “Советская цивилизация” С. Кара-Мурзы служит прекрасным образцом (прекрасным – даже в двойном смысле) как менталитета, так и концептуального самовыражения именно “красного патриотизма”. Для сопоставления с ней мы выбираем “Тайну России”, написанную М. Назаровым с позиций правого (монархического) патриотизма. Книги действительно сопоставимы, причем по нескольким параметрам и под разными углами зрения. Но нас здесь интересует лишь один “угол” – взгляд обоих авторов на проблему русофобии. Вот почему мы облегчаем себе процесс сопоставления, сводя его к главе “Гражданская война” (в книге “Советская цивилизация”, ч. I) и к главе “Уроки Белого движения” (в книге “Тайна России”).

Глава “Уроки...” открывается сенсационным заявлением: “Белое движение спасло честь России в революционной катастрофе. Подвиг русских добровольцев навсегда останется доказательством, что не “выбрал” русский народ большевистскую власть, а сопротивлялся ей до последней возможности. Однако, уважая мужество и жертвенность наших дедов\*, полезно разобраться и в том, почему они не победили. Причин поражения, конечно, много, и они проанализированы разными авторами. В данной статье затронем вопрос, наименее исследованный: какую роль в судьбе русских Белых армий сыграли их союзники – страны Антанты\*\*”. *Вопрос о белой русофобии обходится как в главе, так и во всей книге полным молчанием.* Равно как и вопросы, производные от него. Такие, как массовое дезертирство из Белых армий рядового и, в меньшей степени, унтер-офицерского состава; моральное разложение и, как следствие, значительное падение боеспособности белых частей и соединений, происходившее, как это ни парадоксально, именно тогда, когда после и в результате одержанных ими побед, приведших к установлению контроля над населением обширных территорий, осуществлялся переход от добровольчества к массовым мобилизациям; и, наконец, широкое партизанское движение (крестьянское, по преимуществу) в тылу у всех Белых армий. Именно в трактовке Кара-Мурзой всей этой проблематики и в уклонении Назарова от ее рассмотрения разрыв между их позициями достигает максимума.

Минимальное же их расхождение или, вернее, наибольшее схождение и даже взаимное дополнение наблюдается по вопросу о том, “какую роль в судьбе русских Белых армий сыграли их союзники – страны Антанты”. Послушаем сначала автора “Советской цивилизации”:

“Во-первых, Гражданская война была порождена не только классовым, но и *цивилизационным* конфликтом – по вопросу о том, как надо жить в России, в чем *правда и совесть*...”

Народ России в разгар войны был расколот примерно пополам (значит, не по классовому признаку). В армии Колчака, например, были воинские части из ижевских и воткинских рабочих. Очень важен для понимания характера конфликта раскол культурного слоя, представленного офицерством. В Красной Армии служили 70–75 тыс. офицеров, то есть 30% всего офицерского корпуса России (из них 12 тыс. до этого были в Белой армии). В Белой армии служили около 100 тыс. (40%), остальные бывшие офицеры уклонились от участия в военном конфликте. В Красной Армии было 639 генералов и офицеров Генерального штаба, в Белой – 750. Цвет российского офицерства разделен пополам. При этом офицеры, за редкими исключениями, не становились на “классовую позицию” большевиков и не вступали в партию. Они выбрали *красных* как выразителей определенного цивилизационного пути, который принципиально расходился с тем, по которому пошли *белые*.

\* “Дед автора, белый офицер Виктор Леонидович Назаров, командовал отрядом в армии адмирала Колчака; расстрелян красными в 1920 г.” (примечание М. В. Назарова. – **Ф. Н.**).

\*\* Назаров М. В. Тайна России. – М., 1999, с. 64.

... Важно подчеркнуть, во-вторых, что война “белых” против Советского государства не имела целью реставрировать Российскую империю в виде монархии. Это была “война Февраля и Октября” – столкновение двух революционных проектов. Монархически настроенные офицеры в Белой армии были оттеснены в тень, под надзор контрразведки (в армии Колчака действовала “тайная организация монархистов”, а в армии Деникина, согласно его собственным воспоминаниям, монархисты вели “подпольную работу”). . .

Во всех созданных белыми правительствах верховодили деятели политического масонства России, которые были непримиримыми врагами монархии и активными организаторами Февральской революции. Противником сильной царской империи был и Запад, который на деле и определял действия белых.

Приняв от Антанты не только материальную, но и военную помощь в форме иностранной интервенции, антисоветская контрреволюция быстро лишилась даже внешних черт патриотического движения и предстала как прозападная сила, ведущая к потере целостности и независимости России (Колчак называл себя “кондотьером”). Это во многом предопределило утрату широкой поддержки населения и поражение Белой армии. Напротив, Красная армия все больше воспринималась как сила, восстанавливающая государственность и суверенитет России\*\*.

А вот взгляд на ту же проблему принципиального и последовательного монархиста. В книге М. Назарова мы находим:

“Но противники у России были и будут всегда. На описанном фоне лучше задаться вопросом о наших, русских, “вождях”; могли ли тогдашние белые правительства и зарубежные представительства быть “неоспоримым моральным центром русского дела”, на что они претендовали?”

Документов на эту тему в эмиграции опубликовано столько, что ответ можно дать сразу. Мужество белых воинов – славная страница русской истории. Менее славным было поведение их тыловых правительств, в которых, хотя и было много искренних патриотов, – но либералы-февралисты при поддержке Антанты почти везде доминировали над более правыми деятелями и стали одной из причин поражения. Белое движение было уложено ими в прокрустово ложе борьбы проигравшего Февраля против победившего Октября – без понимания того, что и Февраль, и Октябрь были вехами одного процесса разрушения исторической России; сами же февралисты своим непониманием происходящего и привели к Октябрю.

Характерны уже первые обращения этих политиков к Западу... Они оттеняют не только неисполненный долг стран Антанты, предавших Россию, но и то, что политики-февралисты, потерявшие власть и надеявшиеся ее восстановить с помощью своих прежних западных покровителей, были далеки от понимания как их истинных целей, так и причин российской катастрофы и Мировой войны. Война “имела демократическую идеологию”, поэтому “Россия попала как бы в разряд побежденных стран”, – признал уже в эмиграции П. Б. Струве. Только сквозь призму этой идеологии войны, в которой демократиям удалось столкнуть между собой главные европейские монархии и привести их все к поражению, – понятно и поведение Антанты в нашей гражданской войне.

Этот “демократический” фактор (заклучавшийся прежде всего в отрицании православной монархии) виден в Ясском совещании как у представителей Антанты, так и у многих русских делегатов. Что было логично: стоило ли затевать в России Февральскую

---

\* Кара-Мурза С. Указ. соч., кн. I, с. 240–242.

революцию (подготовленную февралистами совместно с эмиссарами Антанты), чтобы теперь допустить восстановление “реакционного самодержавия”?..

Для левой части февралистов... “реакционными” вскоре оказались даже Колчак и Деникин. ... А Керенский заявлял в западной прессе (ноябрь 1919 г.), что “террор и анархия, созданные там режимом Колчака-Деникина, превосходят всякое вероятие... Нет преступления, которое не совершили бы агенты Колчака по отношению к населению... они представляют тиранию и самую черную реакцию”.

У более правых же февралистов “демократическая” политика превратилась во внешний нажим на Белые армии через подобные “русские делегации”, ставшие белыми правительствами. Так, созданное в Париже в начале 1919 г. “Русское политическое совещание” (под председательством кн. Г. Е. Львова, первого главы Временного правительства), игравшее роль представительства Белых армий на Западе, постоянно требовало от белых генералов провозглашения “глубоко демократического характера целей, преследуемых русским антибольшевистским движением”. Вот характерный текст одной из телеграмм “Политического Совещания”, разосланной из Парижа 5 марта 1919 г. всем Белым армиям:

“6 января мы телеграфировали Вам об усилении демократических идей после войны, закончившейся победой демократии. Ныне Политическое Совещание считает своим долгом осведомить Вас о дальнейшем росте их авторитета в международной конъюнктуре. ... Даже возможность помощи нашим национальным армиям в борьбе с большевиками измеряется степенью демократичности наших Правительств и Политического совещания, доверием и симпатиями, которые внушают они. Всякая тень старой России внушает недоверие. В опасении призраков политической и социальной реакции склонны в каждом шаге отыскивать и преувеличивать сомнения в искренней демократичности новой национальной России. Наше Политическое Совещание подвергается критике с точки зрения неясности демократической физиономии. Это не единственная, но одна из причин, тормозящих успех достижения наших конечных целей...”. Поэтому необходимо “практическое подведение демократического фундамента русской государственности путем... *выбор в какой бы то ни было форме*” (выделено в оригинале).

Чтобы оценить критику, которой подвергалось даже это “Политическое Совещание” со стороны демократических кругов Антанты, нужно отметить его “физиономию”: оно на три четверти состояло из масонов – то есть демократии критиковали за “правизну” даже их!

... Надо учесть, что подавляющее большинство белых воинов были монархистами (позже, в эмиграции, это стало очевидно, что отметил П. Б. Струве). Не удивительно, что Белое движение неуклонно правело, и каждый его последующий вождь (Деникин, Колчак, Врангель) опирался на все более правых политиков (вплоть до вполне компетентного правительства в Крыму). ... Не поэтому ли, в конце концов, ставка Антанты на большевиков возобладала, поскольку те в ее глазах были менее “реакционны”, чем Белые армии с их подспудным монархизмом?

... Разделяя “демократическую идеологию” Мировой войны, наши февралисты и в Гражданской войне фактически действовали в пользу иностранных интересов, а не интересов России. Хотя бы уже потому, что, помимо союза с демократической Антантой, другой возможности борьбы за Россию они себе не представляли. *Если бы они понимали, что надеяться можно только на внутриросийские силы, – кто знает, быть может, легче было бы найти общий язык и с консервативным российским крестьянством?* (Курсив мой. – Ф. Н.) Оно оказало мощное стихийное сопротивление большевикам, повсеместно устраивая независимые от белых восстания, но не нашло смычки с Белым движением...

По признанию белого поверенного в делах в Лондоне К. Д. Набокова, “большинство русского офицерства ненавидит Антанту” из-за ее поощрения антирусских сепаратистов.

... Деникин потом горько упрекал союзников, что они, *не признав официально ни одно из русских белых правительств* (за исключением признания “де-факто” Врангеля ради спасения Польши), *охотно и торопливо признавали все новые государства, возникшие на окраинах России*. Эти “независимые государства” подобострастно заискивали перед Антантой, отказываясь помочь Белому движению. Потом, когда коммунизм в виде исторического возмездия пришел и на их землю, все они ... винули в этом только русских.

... По отношению к самим русским, например, английская политика на Севере России “была политикой колониальной, то есть той, которую они применяют в отношении цветных народов”: солдаты и офицеры “до такой степени грубы в отношении нашего крестьянина, что русскому человеку даже и смотреть на это претило”, — писал генерал Марушевский... Унизительная же зависимость от иностранцев вела к тому, что даже на чисто русских белых территориях, как в Северной области, накапливались “несомненное непонимание и даже вражда между властью и населением”.

Инерция войны против Германии и верности “союзникам”, их лживые обещания помощи, вместе с масонской солидарностью за спинами военных, — все это вело к тому, что трагедия России должна была завершиться по начатому сценарию: продолжалась ориентация добровольцев на Антанту, которая не собиралась свергать большевиков. Монархисты же в Белом движении, под демократическим давлением, оказались растеряны и были вынуждены свернуть свои знамена, считая, что “открытое провозглашение монархического начала и неизбежно вытекающее из этого название февральского переворота своим настоящим именем было бы равносильно отказу от содействия Антанты, без которого успех борьбы с большевизмом считали недостижимым...”

... Русских масонов Антанта тогда использовала как пешек в своей геополитической игре: для свержения и предотвращения восстановления монархии в России, для ее расчленения, для создания “санитарного кордона” (вместо освобождения России от большевиков) — и затем обманула их ожидания. ... Они годились на Западе разве что еще для контроля над русским консервативным зарубежьем; конспиративные же эмигрантские организации, возглавленные масонами, были терпимы странами Антанты и подконтрольными ей лимитрофами не в последнюю очередь из-за разведывательных услуг (пример этому — организация Савинкова)\*.

Исходные идейные позиции Кара-Мурзы и Назарова прямо противоположны. В своем анализе они в большинстве случаев опирались на различные источники и на различную литературу. Исходя из этого, от них следовало бы ожидать столь же противоположных или, по меньшей мере, весьма разнящихся выводов. Однако этого не произошло: два приведенных выше текста разнятся лишь в частности — по своему же основному содержанию они совпадают.

Но коль скоро взгляды “красного” и “белого” патриотов на “подоплеку”, на “закулису” Гражданской войны, по существу, тождественны, то почему бы им не совпасть и в трактовке ряда других вопросов, связанных прямо или через посредствующие звенья с первым? В этом ряду наше внимание, естественно, привлекает, прежде всего, тот самый, что стал сюжетом для этого очерка, — вопрос о русофобии. Полюбопытствуем, как его рассматривал И. А. Ильин, идеолог именно правого (монархического) крыла белой эмиграции:

“Нам нужны трезвость и зоркость.

В мире есть народы, государства, правительства, церковные центры, закулисные организации и отдельные люди, враждебные

---

\* Назаров М. Указ. соч., с. 81–92.

России, особенно православной России, тем более императорской и нерасчлененной России. Подобно тому, как есть “англофобы”, “германофобы”, “японофобы”, так мир изобилует “русофобами”, врагами национальной России, обещающими себе от ее крушения, унижения и ослабления всяческий успех. Это надо продумать и почувствовать до конца. Поэтому, с кем бы ни говорили, к кому бы мы ни обращались, мы должны зорко и трезво измерять его мерилом его симпатий и намерений в отношении к единой, национальной России и не ждать от завоевателя – спасения, от расчленивателя – помощи, от религиозного совратителя – сочувствия и понимания, от погубителя – благожелательства и от клеветника – правды.

Политика есть искусство узнавать и обезвреживать врага. К этому она, конечно, не сводится. Но кто к этому неспособен, тот сделает лучше, если не будет вмешиваться в политику”\*.

Как видим, столь волнующее нас слово “русофобы” занимает в соответствующем контексте соответствующее его достоинству место. Место это не зияет противоестественным провалом и не заполняется эвфемизмом, как это бывало во многих иных случаях. Изумительно! И еще одна выдержка. Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский, привел ее в своей книге “Самодержавие духа. Очерки русского самосознания” из сборника статей И. А. Ильина. Пусть читатель не посетует на “цитату в цитате”: разъяснение митрополитом Иоанном обстоятельств выступления в прессе И. Ильина окажется для нас как нельзя более кстати:

“Годом позже – 5 марта 1946 года – в Фултоне со своей знаменитой антисоветской речью, положившей начало “холодной войне”, выступил Уинстон Черчилль. Размах начавшейся вслед за тем антироссийской пропагандистской кампании поразил даже видавших виды русских эмигрантов.

“Живя в дореволюционной России, никто из нас не учитывал, до какой степени организованное общественное мнение Запада настроено против России и против Православной Церкви, – писал Иван Ильин, раньше и яснее других почувствовавший, в чем дело. – Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи (пока она, действительно, вырастает), нашего душевно-духовного уклада, нашей веры и Церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей армии. Они боятся нас: и для самоуспокоения внушают себе... что русский народ есть народ варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к несправедливости и жестокости; что религиозность его состоит из суеверия и пустых обрядов...”

Европейцам нужна дурная Россия: **варварская**, чтобы “цивилизовать” ее по-своему; **угрожающая своими размерами**, чтобы ее можно было расчленивать; **завоевательная**, чтобы организовать коалицию против нее; **реакционная, религиозно-разлагающая**, чтобы вломиться в нее с пропагандой реформации или католицизма; **хозяйственно-несостоятельная**, чтобы претендовать на ее “неиспользованные” пространства, на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые договоры и концессии”\*\*.

Едва ли где-либо еще можно найти какую-либо иную формулу западной русофобии, сравнимую с этой по своей емкости, точности и выразительности. И, главное, по своей почти извечной применимости. Во всяком случае, она достаточно точно описывает отношения Запада к России и в дореволюционную эпоху (1854–1917), и в эпоху советскую (1917–1991), и, наконец, в период капиталистической реставрации (1991 и поныне): по сути, одни и те же воделения и одни и те же претензии.

\* Ильин И. А. Против России. – Сб. “Русская идея и современность”. М., 1992, с. 174–175.

\*\* Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. – Саратов, 1995, с. 298–299.

Вернемся, однако, к тому историческому моменту (1946), когда Ильин формулу эту отчеканил. Речь Черчилля в Фултоне историк не может расценить иначе, как объявление Западом “холодной войны” Советскому Союзу. Выступление же Ильина по поводу пропагандистской волны, поднятой этой речью, было, по-моему, ничем иным, как призывом к русскому зарубежью **соблюсти в этой войне нейтралитет**. Что само по себе было ново. Антисоветизм всегда, и по понятной причине, оставался базовой характеристикой белой русской эмиграции как таковой. Однако “уровень” этого антисоветизма менялся, во-первых, от одного политического течения к другому внутри эмиграции и, во-вторых, если брать эмиграцию все-таки как нечто цельное, он то повышался, то падал в зависимости от того, что происходило в Советском Союзе и что с ним происходило. Не вдаваясь в историю этих колебаний, отмечу только одно обстоятельство: в наименьшей мере им было подвержено ее правое крыло. Так, в основном, из монархистов рекрутировался Русский Общевоинский Союз (1924–1940), для которого Гражданская война была еще не закончена, – он и продолжал ее актами террора и диверсий на территории Советского Союза. “... Тем более что Советский Союз многими воспринимался только как Русская земля, завоеванная и оккупированная оголтелой богоборческой, антирусской, сатанинской силой”\*. Между 1940 и 1946 гг. должно было произойти нечто настолько важное, что сдвинуло неколебимый утес монархического антисоветизма с его привычного места. Что произошло именно в эти годы? Любителям истории подсказываю: загляните в хронологическую таблицу!

Но от просто нейтралитета (“пакта о ненападении”), строгого, педантичного, с нахмуренным челом, до нейтралитета *дружественного*, с улыбкой на устах, – один шаг. А от дружественного нейтралитета до союза против общего врага, союза сначала оборонительного, а потом и наступательного, тоже ведь “рукою подать”. Но возможен ли союз во имя совместного отпора русофобии (где бы гадина голову ни поднимала), союз между “красными” патриотами, вовсе не склонными смотреть на себя, как на исчадь ада, это – с одной стороны, и патриотами “белыми”, продолжателями традиций белой эмиграции – с другой? Вопрос этот ставится, как кажется, не только в идеологической, но и в организационной плоскости – если во внимание принять ныне осуществляемый проект Русского мира. Проект этот был предан гласности в выступлении В. В. Путина на Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом (Москва, 2001).

Т. В. Полоскова, начальник управления по работе с соотечественниками в странах СНГ и Балтии при МИД России, в интервью “Независимой газете” резюмировала: “В этом выступлении Русский мир понимался как транснациональная этнокультурная сеть, в основе создания которой лежит добровольное желание людей, проживающих за рубежом, но ощущающих себя частью русской культуры, испытывающих интерес к нашей традиции, истории, к саморганизации (выделено мной. – Ф. Н.) и налаживанию тесных культурных связей с Россией, объединиться”\*\*. И пара цитат из того же интервью:

“– В 2002–2003 годах были проведены первые конгрессы представителей зарубежных деловых кругов российской диаспоры, отдельно проводились встречи представителей интеллектуальной элиты. В российской диаспоре был озвучен вопрос о создании международных организаций и объединений, в том числе молодежной направленности. Коммуникационная сеть начала выстраиваться во всемирном масштабе...”

– **Но Русский мир – это как бы архипелаг вокруг континента Россия...**

– Россия для Русского мира – безусловно, центр этнокультурного притяжения, партнер общественных организаций диаспоры. Но для того чтобы диаспора смогла действительно превратиться в сеть, в Русский мир, а не в разрозненные островки активности, необходимо, чтобы сверхзадача этого объединения родилась внутри диаспоры и была осознана ею”\*\*\*.

\* Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский, с. 273.

\*\* “НГ”, 29 мая 2007 года.

\*\*\* Там же.

“У диаспоры должен быть культурный и исторический центр”, – в том же номере “НГ” и по тому же вопросу справедливо замечает философ А. П. Козырев (просьба не путать с однофамильцем, экс-министром иностранных дел при Ельцине). Ну а должен ли он также брать на себя “по совместительству” еще и ту роль, что, например, играет Израиль по отношению к мировому еврейству?

Ответ может дать, разумеется, только сама русская диаспора. Однако предвидеть то, что различные ее части дадут его вовсе не однозначно, совсем не трудно. В тех странах рассеяния, где русская эмиграция встретила более или менее благожелательный или хотя бы только не враждебный прием, она, естественно, испытывает к приемной матери дочерние чувства и готова исполнять по отношению к приютившему ее государству гражданский долг. Ее отношения с исторической родиной будут, в этом случае, носить чисто культурный, то есть вовсе не политический, характер. Но каких это гражданских добродетелей может ожидать, скажем, Латвия от своих русских “неграждан”? У них, конечно, “есть потребность в сохранении и развитии русской культуры, языка, образования, духовных связей” со своей исторической родиной, с Россией, но как только это естественное стремление сталкивается с сопротивлением местных этнократических режимов, оно немедленно принимает характер политического движения. И Россия уже не только как “культурный и исторический центр”, но именно, как центр политический (как государство) вынуждается к участию в тяжбе. Вместе с тем и все остальное этнокультурное сообщество, основанное на признании и принятии ценностей русской культуры, не может и не должно оставаться безразличным к постыдным фактам попрания этих ценностей и дискриминации членов того или иного русского землячества где-либо.

Защита своих культурных (прежде всего, конечно, *духовных*) ценностей, защита своей культурной *самости* предполагает противостояние тем силам, которые этой русской самости угрожают. Короче, борьба против **русофобии** во всех ее разновидностях оказывается неременным условием становления Русского мира.

*Становления?* А разве Русский мир не являет собой нечто *сущее*? Нет, не являет. Диаспора (“рассеяние”) сама по себе есть всего лишь “пыль земли” – нечто бессильное, ничтожное, исчезающее, растворяющееся в “среде обитания”. Однако при стечении некоторых обстоятельств, при удовлетворении некоторых условий эта “пыль земли” превращается в *силовое поле* – в *социум*\*. Ни один социум никогда не обходился без некоей общей для его членов совокупности идей, образов, символов, моральных норм, верований, преданий – той совокупности, что составляет самую глубокую основу духовной жизни каждого из своих членов, предопределяя тем самым однотипность психических установок и, следовательно, реакций всех или подавляющего большинства членов на вызовы, с которыми социуму приходится сталкиваться. За неимением лучшего, я вынужден назвать такую совокупность *идеологией*.

Испания плюс Латинская Америка есть социум. Англосаксонский мир есть мир, то есть социум. Китай вкупе с рассеянными по всему миру “чайна-таунами” есть также свой особый китайский мир. Мировое еврейство, тяготеющее к Израилю, есть социум, способный вызвать у тех, кто им не охвачен, эмоции весьма противоречивые. Если русская диаспора пожелает последовать вышеприведенным примерам, она должна будет, как и было замечено на странице “НГ”, **самоорганизоваться**, превратиться в **сеть**, каждый “узелок” которой связан со всеми прочими, как бы далеко они от него в географичес-

---

\* Под словом *социум* мы будем понимать такую человеческую общность, отличительными чертами которой выступают, во-первых, достаточно развитое коллективное самосознание (предопределяющее, к слову, солидарность своих членов) и, во-вторых, достаточно продолжительное (в несколько поколений, к примеру) время существования. Группа индивидов, общность которых базируется на таком, безусловно, объективном показателе, как одна и та же группа крови, социумом как раз не является – отсутствует коллективное самосознание и коллективная солидарность (за исключением доноров, конечно). С другой стороны, сомнительно, чтобы наличие этих свойств (самосознания и солидарности) у современной парной семьи превратило бы ее в подлинный социум – существует она в лучшем случае, пока живы супруги (в течение жизни одного лишь поколения). Но вот туркменский род и племя – это, безусловно, социум.

ком смысле ни отстояли. Однако для достижения искомого эффекта необходимо удовлетворить одно предварительное условие: такая сеть может возникнуть лишь по достижении “архипелагом” и “материком” согласия по некоему минимуму вопросов, относящихся к области **идеологии**.

По вопросу о том, что такое идеология, в научном мире консенсус отсутствует. С одной стороны, имеется великое множество дефиниций, с другой же, авторы обходят “скользкое место”, употребляя слово “идеология”, но вместе с тем воздерживаясь от его толкования, – как видно, в смутной надежде, что смысленный читатель и без излишних разъяснений поймет то, чего не понимают они сами. Что касается меня, то я попытаюсь выбраться из тупика при помощи метафоры.

Представьте себе кадку. Почему составляющие ее дощечки (клепка) держатся вместе? Да потому, что они стягиваются воедино обручами. Так вот: кадка – это *социум* (более или менее широкое человеческое сообщество), а обручи – это *идеология* социума. Может быть, слово “идеология” с равным успехом прилагается к чему-либо еще. Может быть, “обручи” с еще большим успехом обозначаются каким-то иным словом. Но мне недосуг углубляться в терминологические тонкости, а потому прошу читателя принять предложенный ему образ “кадки с обручами” за исходный пункт при обсуждения темы. Стоит вообразить себе, что некий бочар ради лучшего сохранения помещенного в кадку продукта пустил пару-другую обручей также по дну и по крышке бочки, стоит вообразить себе это, чтобы получить более совершенную модель той реальности, которую мы обычно обозначаем как идеологию. Идеология, в самом деле, есть *сеть “обручей”-элементов*, каждый из которых так или иначе со всеми другими либо пересекается непосредственно, либо связан с ними через “обручи”-посредники. Вся жизнь социума охвачена этой сетью, ни одна из сторон общественной и даже частной жизни от постоянного воздействия идеологии не свободна. Потому-то социум и не рассыпается в прах – сначала на его компоненты (социумы же), потом каждый из них – на “атомизированные” индивиды, которые и являют собой “пыль земли”.

Итак, всякий устойчивый социум устойчив именно в силу своей достаточной разработанной *идеологии*. Именно она придает ему единство, необходимое как для отражения внешних угроз, так и для преодоления внутренних кризисов. И, наконец, именно она обеспечивает ему преемственность поколений, так как служит главным инструментом *социализации* – приобщения ребенка, подростка, юноши, девочки и девушки к нему, к данному конкретному социуму.

Современный Русский мир намыт в XX веке четырьмя волнами эмиграции. Первая из них (по разным оценкам, от 2 до 5 млн человек\*) была поднята революцией и последовавшей за ней Гражданской войной. Это – белая эмиграция. Вторая стала следствием Второй мировой войны: основной массив второй эмиграции (вынужденной, как и первой) составили так называемые “перемещенные лица”, а большинство среди последних – “остарбайтеры”, юноши и девушки, вывезенные на работу в Германию с оккупированных вермахтом территорий Белоруссии, Украины и России. Третья волна (шестидесятые годы – начало “перестройки”) была вызвана искусственно – стараниями западного комплекса “спецслужбы – mass media” в русле “холодной войны” против Советского Союза. В отличие от первых двух, эта “третья волна” состояла, за самыми малыми исключениями, из лиц, которые жаждали выехать за границу, где их, предположительно, ожидали райские кущи. В значительной своей части “третья эмиграция” собственно эмиграцией в тесном смысле как раз вовсе и не была, а была *репатриацией* – во-первых, возвращением евреев на свою историческую родину и, во-вторых, переездом русских немцев в Германию. Насколько и в каком отношении те и другие “наши бывшие соотечественники” входят в Русский мир – этот вопрос остается для обсуждения открытым. Последняя волна начала вздыматься во времена “перестройки”, достигла наибольшей высоты в период “реформ” и ныне постепенно сходит на нет. Русское зарубежье с 1989-го по 2002 год пополнилось 4 миллионами человек. В социальном отношении четвертая волна очень неоднородна. На ее гребне – те, кто, разграбив Россию в ходе “приватизации”, конвертировал награбленное в доллары и вывез их общей суммой, по разным подсчетам, от 300 до 500 млрд. Как много воров среди этих 4 млн? Их, как

\* Яценко Е. Геополитический потенциал Русского мира. – “НГ”, 29 мая 2007 года.



мне представляется, никто ни считал – ни правоохранительные органы, ни социологи. Несомненным остается только то, что они – пена, грязная пена на волне экономической эмиграции. Социальный же “субстрат” самой волны совсем иной – это НТР, научно-технические работники, хлынувшие на Запад в поисках работы после разгрома советской науки и всего народного хозяйства.

Наконец, особую обширную зону Русского мира вокруг России составляют страны СНГ и Балтии, где русское население, не сдвинувшись с насиженных мест, оказалось в положении эмигрантов.

Такая вот “история с географией”. На монолит наша “этнокультурная общность” походит мало, она разобщена. “Разобщенная общность” – разве возможно такое? Да. Если во внимание принять то, что “общность” и “разобщенность” понимаются в разных смыслах. Существует известная языковая и культурная общность того неопределенного и беспредельного пространства, что обозначается как Русский мир. Она, однако, вовсе не дополняется тем, что могло бы быть обозначено (в лучших традициях Агитпропа) как “морально-политическое единство”. “Разобщенная общность” – это то “противоречие в термине”, которое, по Гегелю, описывает процесс *становления*, то есть того, что или перестает быть, или начинает быть. Другими словами, “разобщенная общность” либо продолжает разобщаться – и, в конце концов, перестает быть общностью. Либо, напротив, она стягивается отовсюду, преодолевая центробежные силы. В последнем случае “Русский архипелаг” *становится* к матерiku все ближе и ближе, пока не сомкнется с ним (в некоторых, понятно, отношениях – и уж во всяком случае, не в географическом). Становящийся социум превращается в социум сущий тогда, когда он обретает единую идеологию: без нее не может быть единства воли, а без единства воли не бывает слаженного действия даже малого коллектива. Истина, сказать по правде, не из самых трудных для усвоения.

Но, если общей идеологии нет – откуда же ее взять? Вот этот вопрос уже сложнее.

Говорить о широком спектре политических убеждений (или, если менее категорично, мнений, симпатий, склонностей) в русском дальнем зарубежье, положим, вроде бы не приходится. Группировки либеральной ориентации занимают в нем относительно скромное место (особенно если сравнить его с раскладом политических сил на Западе), перевес явно на стороне монархистов, которые опираются на моральную поддержку Православной церкви и в своих программных выступлениях отражают ее мировоззрение и политическую направленность. Это направление, безусловно, патриотично. Но есть и другие патриоты – это те, кто хранит в душе верность ушедшему в небытие Советскому Союзу. В России они в численном отношении преобладают над монархистами многократно, в дальнем же зарубежье численное соотношение между сторонниками двух ветвей, по всей видимости, прямо обратное; что же касается зарубежья ближнего, то я не берусь строить даже и предположений. Но как бы то ни было, осуществимость грандиозного проекта находится в прямой зависимости от того, сумеют ли патриоты-монархисты и советские патриоты протянуть друг другу руку на общее дело. Таким образом, вопрос об общей идеологии и, следовательно, о том, быть или не быть Русскому миру, значительно сужается и упрощается. На стадии “нулевого цикла” он сводится к возможности диалога между представителями лишь тех двух основных патриотических идеологий, которые только и следует брать в расчет по их “удельному весу”.

Какой сюжет мог бы заинтересовать обе стороны? Вопрос поставлен неточно. Правильнее было бы спросить: какой сюжет **должен** стать предметом обсуждения **вне всякой очереди**? Для меня ответ вполне очевиден: ну, конечно, это вопрос о **русофобии**, о методике распознавания ее в ее скрытых формах, о способах борьбы с нею хотя бы даже и во вселенском масштабе. Сюжет этот для каждого русского всегда столь же актуален, как и вопрос юдофобства для каждого еврея. Совместная борьба против антисемитизма не в меньшей мере, чем Тора, делает мировое еврейство социумом. Почему бы его благой опыт не использовать в целях единения русской диаспоры с родной-матерью и русскими людьми, проживающими в нашем Отечестве?